

Владислав
КРАПИВИН

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО
НА ГРАНИЦЕ
ТЬМЫ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ:

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО



Владислав Петрович Крапивин
Шестая Бастионная
Серия «Мемуарный» цикл», книга 1

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156203

Владислав Крапивин. Собрание сочинений в 30 томах. Том 27. Шестая Бастионная:

Центрполиграф; 2000

ISBN 5-227-01357-8, 5-227-00524-9

Аннотация

Самая обычная жизнь школьников – полна серьезными испытаниями силы духа, чести, преданности долгу и своим убеждениям, ведь тот, кто верен правде, готов к подвигу всегда.

Содержание

Сентябрьское утро	4
Далеко-далеко от моря...	13
Алька	20
Бастионы и форты	24
Стрела от детского арбалета	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Владислав Крапивин

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

Рассказы и повести об улицах детства

Сентябрьское утро

Даже не знаю, как называется такой материал. Бетон? Или что-то другое? Смесь цемента с морской галькой, крупным песком и ракушками. Словно искусственный камень-ракушечник. Из него сложены ступени многих севастопольских лестниц. Старожилы называют эти лестницы по-морскому: трапы.

Я поднимаюсь по трапам от Большой Морской к Владимирскому собору, где похоронены севастопольские адмиралы: Лазарев, Корнилов, Истомин, Нахимов. В тени дворов и переулков, среди кустов и под каштанами еще сумерки раннего утра. Но небо уже светлое. Прохладно, пахнет сыростью от короткого ночного дождика. Пахнет морем – с рейда тянет ветерок. А еще пахнет теплой травой – у нее мелкие листики, крошечные стручки и цветы, похожие на лютики. Ею поросли пустыри, бастионы, развалины Херсонеса и старые переулки.

Щелк-щелк-щелк! – стучат позади легонькие сандалеты. Меня обгоняют с двух сторон девочка и мальчик. Видимо, первоклассники. У них на спинах подпрыгивают твердые ранцы. Мальчик оглядывается:

– Дядя, который час?

– Без двадцати восемь... Вы куда так рано топаете?

– А! Дела всякие... – Взял девочку за руку, что-то прошептал, и – та-та-та-та-та! – защелкали по ступеням их подошвы. Умчались деловые люди, только белые носочки замелькали высоко на лестнице, будто запрыгали вверх по ступеням шарики от пинг-понга.

Я поднимаюсь к собору... и в глаза бьет алый луч. Над мачтами и сигнальными вышками Южной бухты, над крышами Корабельной стороны появилось солнце. Еще приплюснутое, неяркое, но чистое, будто умытое.

Выхожу на высокий берег бухты. На военных кораблях начинают играть горнисты. Негромко, но отчетливо и очень красиво. Это сигнал построения. Через несколько минут под переливчатую мелодию трубачей будут подняты флаги. И начнется севастопольский день...

Солнце поднимается очень быстро, нарастает его блеск. Оглядываюсь. Над куполом собора, в золотом яблоке, сверкает огненная точка...

Я помню время, когда вместо купола был ржавый каркас, а в стенах темнели щели и выбоины от снарядов. Но и тогда сверкающее яблоко на вершине собора отражало солнечные лучи, блестело над бухтами, как маяк...

Неподалеку три школы. Одна совсем рядом, другая внизу, на улице Очаковцев, третья в конце улицы Советской. Я выхожу на Советскую и шагаю вниз, к школе номер три. Скоро мне придется уезжать, и хочется перед Отъездом повидаться со знакомыми ребятами.

На улице все больше и больше школьников. Вздогают с откоса по трапам, выскакивают из подъездов и переулков. Это, конечно, те, кто поменьше. А старшие шагают солидно. Два десятиклассника в светлых офицерских рубашках басят:

– Она и говорит: «Тогда будете сдавать отдельный зачет...»

– У нее сдвиг по фазе на этих зачетах...

– Я говорю: «Я уже приходил, а вас не было. А мне, между прочим, не только английский учить надо», А она опять: «Если вы собираетесь в училище...»

Впереди топает толстая, солидная девочка лет восьми. Рядом – энергичная бабушка. Девочка рассказывает:

– А на другой день, когда папа попросил мальчика, чтобы...

– Неправильно! – восклицает бабушка. – Ты не так выучила! Хорошие мальчики не ждут, когда их попросит папа, они сами...

– Нет, я правильно. Там так написано.

– Ничего там не написано! Ты слушай, что бабушка говорит, а то я тебе... послушаю! Бабушки всегда всё знают. Лучше всех.

Трое мальчишек, видимо класса из шестого, шагают мне навстречу и на ходу заглядывают в книгу. Ее листает тот, что посредине. Книга явно не «Математика» и не «География». Судя по толщине, это или бессмертные «Мушкетеры» или «Дети капитана Гранта». Ребята сдвинулись над книгой разлохмаченными головами, но идут четко, в ногу... В ногу-то в ногу, но вперед не смотрят и налетают на молодого черносоусого мичмана.

– Ой, простите...

Мичман смеется как-то очень по-штатски, треплет самого маленького по макушке и, словно сам мальчишка, заглядывает в книгу. Говорит понимающе:

– А-а...

На белых домах ещё синяя тень, однако по верхним этажам все чаще пролетают желтые бабочки солнца: лучи пробились сквозь ветки, а ветки качаются под ветерком. Я думаю, что день будет ясный и теплый – такой, какими обычно бывают здесь сентябрьские дни. Такой, как в далеком шестидесятом году, когда я впервые шел по этим улицам и увидел Леньку.

Рассказ о Леньке – один из первых моих рассказов о Севастополе. Я написал его давно, и он был напечатан под названием «Флаг отхода». Но сейчас мне очень хочется его повторить. Потому что в нем для меня – радость открытия и радость встречи с городом, о котором я мечтал с детства.

Попал я в Севастополь гораздо позже, чем хотел: когда стал уже взрослым и вполне серьезным (по крайней мере, так считали мои взрослые знакомые). Я поехал туда в конце сентября. На Урале, в Поволжье и в Подмосковье начиналась слякотная осень. Вагонные окна были в бисере дождя. Над разноцветными подмосковными дачами висели такие низкие облака, что, казалось, щетина телевизионных антенн вырывает из них клочья.

Поэтому следующее утро обрадовало меня, как неожиданный праздник. За окнами пронеслись блестящие от солнца воды Сиваша, мелькнул обрыв с громадными буквами. «КРЫМ» и поплыла, кружась, желтоватая знойная степь с белыми кубиками хаток и свечками пирамидальных тополей. Не было и намека на осень.

За Симферополем с его нарядным вокзалом потянулись плоские предгорья хребта, а потом открылись Инкерманские высоты с меловыми обрывами разработок. Одна гора была срезана наполовину – от вершины до подошвы, словно ударом гигантского ножа. Вверху, у края обрыва, уцелел домик. Я вспомнил, что почти весь Севастополь сложен из белого инкерманского камня.

Здесь же, у Инкермана, я впервые увидел Северный рейд. Выход из бухты терялся за желтыми крутыми берегами, и открытого моря еще не было заметно. Может быть, поэтому обилие судов на рейде особенно бросалось в глаза. В блеске синей воды я увидел красные от ржавчины и сурика разоруженные линкоры, белые катера, шаланды, закопченные буксиры, Высокие сухогрузы с черными бортами и сидящие по палубу в воде танкеры... В этой пестрой толчее, трепете разноцветных флагов и блеске белоснежных надстроек только серые

узкие эсминцы казались неподвижными. Они стояли шеренгой и были похожи на зубья громадного гребня.

А у края воды пролетали за окнами заросли кустов с желтой цветочной россыпью, изгороди, лодки, причалы, бакены, вышки и пакгаузы. Бухта открывалась то с одной, то с другой стороны. Поезд с грохотом буравил короткие туннели и опять выскакивал под жаркий солнечный свет, мчался у желтых откосов с крепостными башнями, с лестницами, храмами и бойницами, вырезанными в скалах. Потом побежали каменные белые заборы, оранжевые черепичные крыши, а над ними неожиданно возник колоссальный форштевень и борт с надписью «Советская Украина». Это стояла у берега знаменитая китобойная база.

Поезд сбавил ход...

На вокзале меня сразу же ухватила загорелая сухощавая старушка, пожелавшая сдать комнату. Слегка обалдев от ее напора, я покорно втиснулся в крошечный автобус довоенного вида. Он, завывая, потащил нас куда-то наверх.

Через несколько минут мы оказались на улочке, состоящей из побеленных каменных изгородей и глубоко врезаемых в них калиток. Вслед за старушкой я нырнул в такую калитку. Двор был закутан в виноградную зелень.

В густой тени у забора послышалась тяжелая возня, и я увидел какого-то зверя. Сначала показалось, что это рыжий коровий подросток, но зверь поднял голову, и выяснилось, что это пес. У него были синие младенческие глаза и виновато-добродушная морда. Но грандиозные размеры пса наводили оторопь.

– Не бойтесь, ради бога, – заторопилась старушка. – Он мухи за всю жизнь не обидел. Он боится даже божьих коровок. За что кормим, сама не знаю.

Пес вздохнул шумно, как холмогорская корова, и опустил морду на лапы.

Комната моя была пустой и пахла известкой. Я бросил в угол чемодан, проскочил виноградную тень двора и снова нырнул под белое севастопольское солнце.

Запутанными тропинками, мимо непролазных кустов и бетонных решетчатых изгородей я начал спускаться к площадке извилистой лестницы. Лестница убежала в темную зелень. Узор изгородей был похож на поставленные в ряд штурвалы. За листьями блеснули стекла и белые стены большого дома. Потом я услышал стоголосый ребячий гомон и на школьном дворе, окруженном той же штурвальной изгородью, увидел севастопольских ребят.

Мне снова почудилось, что я попал на праздник. Наверно, с непривычки. Странно было видеть у школы ребятишек, одетых так легко и разноцветно. Они казались совсем непохожими на уральских школьников, которые почему-то при любой погоде упакованы в серую униформу из сукна, толстого и жесткого, как казенное одеяло.

Была середина дня; первая смена спешила по домам, вторая – на уроки, и на дворе крутилась яркая карусель красных испанок, матросских воротников, белых, синих и пестрых рубашек, черных морских пилотов и пунцовых галстуков.

Чуть ниже школы, на широких перилах лестницы, сидел темноволосый мальчик в рубашке очень звонкого голубого цвета. Он поставил на парапет коричневую, в белых косых царапинах ногу и рассматривал брезентовый полуботинок с оторванной подошвой.

«Четвероклассник, – мельком отметил я. – Или нет, скорее, из пятого». На рукаве у мальчишки алела звездочка октябрятского вожака. Четвероклассников по молодости лет обычно не назначают на такие посты.

А подошву бедняга оторвал здорово, до каблука...

Неловко проходить мимо, если у человека беда. Я остановился и сказал полувопросительно:

– Авария...

Он поднял голову. Я ожидал, что под низко подстриженным чубчиком блеснут глаза сердитые и темные, как смородина. А у него были серые улыбчивые глаза. И улыбка была славная – чуть виноватая и в то же время немного озорная.

– Вот, смотрите, – сказал он мне, как знакомому. – Что теперь с ней делать? – и покачал ногой. Подошва зашлепала по башмаку, и это было похоже на злорадные аплодисменты.

– Здорово ты ее рванул. Где это так? Он сказал с веселой досадой:

– Да... с мальчиками банку гонял.

– Что же эти мальчики тебя бросили? Банку гоняли вместе, а теперь...

Он проговорил с неохотой;

– Ну что они могут... Маленькие еще.

– А-а, – сказал я, снова взглянув на звездочку. Мальчик еще раз тряхнул пострадавшим башмаком и весело сказал:

– Ладно, как-нибудь дохромаю до дома...

Я вспомнил, как дождливым осенним днем в сорок шестом году отодрал на улице подошву старого кирзового сапога и сказал почти такие слова. А Лешка Шалимов – мой сосед и старший приятель – умело обмотал сапог куском провода.

Сейчас провода под рукой не было, но в кармане у меня лежал моток лейкопластыря (перед отъездом я заклеивал им пакет с фотокассетами).

– Ну-ка, сними ботинок.

Он послушно сдернул башмак, не развязав шнурка. Я сел и начал прибинтовывать подошву.

Мальчик сидел рядом и немного смущенно вздыхал.

Двое ребят остановились над нами.

– Ой, Ленька на приколе! – весело заметил один, – Ремонтируетесь?

Ленька еще раз вздохнул.

– А где твои мальки? – не отставал товарищ.

– Ну, тебе-то что?.. Прогнал уроки учить.

– Зря вы ему чините, – заметил второй. – Все равно его салажата ему опять подошвы оторвут. Вместе с пятками.

– Шагайте вы... – сдержанно попросил Ленька.

Они засмеялись и запрыгали по ступенькам.

Я протянул ботинок.

– Спасибо, – заулыбался Ленька. – У, крепко держится...

– Теперь за труды скажи мне, как добраться до Херсонеса.

– Да это же просто! На пятом автобусе от Графской пристани.

– Дорогой мой Леня, – проникновенно сказал я. – Представь себе, я пока еще не знаю, где Графская пристань. Это во-первых. А во-вторых, я люблю ходить пешком.

– Пешком? – немного удивился он. – Ну тогда... тогда так... – Он встал на парапет, поджав босую ногу, и зажатым в руке ботинком указал куда-то за деревья. – Вы увидите: разбитая церковь на берегу. Разными улицами можно идти, а потом направо по шоссе....

Мы вместе спустились по лестнице и неторопливо свернули в боковую улочку. Ленька брел чуть в стороне, поддавая коленками свой заслуженный портфель.

– Капитан... – окликнул я, – А большая у тебя команда?

– Семь, – сказал он, не поднимая головы.

– Хороший народ?

Он пожал плечами, но вдруг весело глянул на меня и признался:

– Да, хорошие...

Он остановился у калитки в белой нише каменной стены.

– Я здесь живу...

Я кивнул ему и двинулся дальше. Прошел еще несколько улиц. Мимо вокзала, вдоль бухты, похожей на реку, забитую судами всех размеров. Через площадь, над которой белела башня с квадратными часами. По белым лестницам и плитам. Потом за стадионом свернул наугад и остановился, словно от толчка холодной ладонью в лоб.

Над белыми террасами улиц, над черепицей крыш, над пыльно-зелеными пустырями, маячными вышками и желтыми развалинами храма стояла туманная и мерцающая стена густой синевы. Лишь через несколько секунд я понял, что это и есть море. И показалось, что поют камни.

...Вечером, просоленный морем и прожаренный солнцем, я возвращался из Херсонеса. Мои карманы неприлично оттопыривались из-за того, что в них лежало множество интересных вещей. Там были пестрые и черные камни, осколки мраморных колонн, черепки древних амфор, ржавые гильзы, большая крабья клешня, наконечник маленького гарпуна, обточенные морем бутылочные стекла и плоские перламутровые раковины мидий.

Я не старался идти прежней дорогой, просто хотел выбраться на лестницу, ведущую к моей улице на Зеленой горке. Но так или иначе оказался на Ленькиной улице. Я узнал ее по двум заметным тополям. Потом я увидел и самого Леньку. Он прислонил к тополи велосипед и звякал ключом по передней оси.

– Опять авария? – спросил я.

Он глянул через плечо и улыбнулся, будто ждал меня.

– Да нет, конуса подтягивал. Ленька опустил в сумку ключ и мельком, но с любопытством взглянул на мои разбухшие карманы. Я испытывал к этому человеку полное доверие и, не боясь насмешки, протянул на ладони несколько своих трофеев.

– У, какой был зверюга, – с уважением заметил Ленька, увидев клешню. Оценил он и патронные гильзы: – Наши, от старого автомата. Знаете, были такие с круглыми магазинами? – К черепкам он отнесся без интереса, а про самый большой, с загадочными буквами МАК, сказал: – Это не очень старинный, он от черепицы. Есть такая, на старых домах.

Кажется, мои уши приобрели цвет этой самой черепицы. Ведь я до сих пор был уверен, что отыскал обломок древнего изделия времен римского владычества. «Изделие» полетело в траву. Ленька понял мое смущение и торопливо предложил:

– А хотите рапану?

Я не понял. Я решил, что он хочет чем-то угостить меня. Но Ленька из кармана (тоже изрядно оттопыренного) извлек раковину. Она была круглая, завитая, размером с мой кулак. Серая, бородавчатая. Но внутри она блестела чистым, розовато-оранжевым лаком с перламутровыми разводами.

Конечно, я очень хотел такую раковину. Так хотел, что даже из вежливости не стал отказываться.

– Она шумит, – ласково сказал Ленька. – Вы послушайте...

Я поднес раковину к уху. Из глубины ее наплывал тихий звенящий шум. Ленька ревниво следил: слышу ли?

– Шумит, – сказал я.

– Это не море, – объяснил он с легким вздохом. – Это кровь в ушах звенит. Но все равно похоже, верно?

– Еще бы, – сказал я, разглядывая рапану. В глубине ее от вечернего солнца загорался желтый огонек. – Я и не знал, что есть такие...

– Говорят, они после войны развелись, – откликнулся Ленька. – Немецкие подводные лодки занесли их в Черное море... А может быть, какие-нибудь другие корабли.

Раковина была тяжелая и теплая. Я рассматривал ее, покачивая на ладони. И не знаю, почему так получилось: подвел какой-то мускул или нерв – ладонь вздрогнула слишком сильно, и раковина соскользнула.

Прежде чем рапана долетела до земли, я представил, как на плитах тротуара она рассыплется на осколки. И погаснет ее желтый огонек, и оборвется шум. Так бы и случилось, но Ленька успел подставить ногу. Раковина мягко ударилась о коричневые ремешки сандалии и невредимая откатилась по твердому песчанику.

Мы тихонько вздохнули и посмотрели друг на друга. Потом я поднял рапану. На ней не было даже трещинки.

– Не ушиб ногу?

– Не-ет, – небрежно ответил Ленька и покачал ступней.

Только сейчас я понял, что он в новой обуви – в кожаных плетеных босоножках.

– В таких уж не погоняешь банку, – сказал я просто так, чтобы не угас разговор.

Ленька чуть улыбнулся, глядя в сторону, потом коротко и серьезно взглянул на меня.

– Да я не гонял... Я так сказал, просто... Ну, понимаете, не всегда ведь будешь все объяснять.

– Конечно, – вздохнул я с легкой обидой на его недоверие.

Но у Леньки не было недоверия. По крайней мере теперь. Он объяснил со скрытой улыбкой:

– Это они оторвали, когда искали один тайный документ. Это игра такая. Я спрятал, а они угадывали, где спрятано. Я думал, не угадают, прибил вчера под подошву, а они догадались, ну и пришлось отрывать...

– «Они» – это кто? Твои октябрюта?

– Ну да...

Я засмеялся:

– Слушай, а не оторвут они тебе когда-нибудь голову? Видно, люди это скорые и решительные.

– Нет, – уверенно ответил он. – Не оторвут, если я не разрешу... А сегодня игра такая, – повторил он. – Они искали документ, чтобы знать, что будем делать в воскресенье.

– Узнали?

– Конечно, раз нашли.

– А ты бы его зашифровал еще для интереса.

– А там нечего зашифровывать. Вот... – Он вытащил из кармана мятый бумажный прямоугольничек, широко закрашенный по краям синими чернилами.

– И это все? – удивился я.

– Да...

– Какой-то тайный знак?

Тогда слегка удивился Ленька.

– Это же флаг отхода. Разве вы не знаете? Это значит, что пора собираться в дорогу. У нас будет поход.

Я тогда еще не командовал морским отрядом «Каравелла», не разбирался во флотских сигналах и не знал, что такое флаг отхода.

– Это буква «П» в Международном своде сигналов, – объяснил Ленька. – Такой флаг поднимают на кораблях, когда они собираются уходить в море. Разве вы не видели?

– Нет... Я еще Очень многого не видел. Я первый день у моря. Так уж получилось...

– Ну, вы еще увидите! – весело пообещал Ленька.

...Он оказался прав. Эти флаги я увидел на следующее утро над большими теплоходами на Северном рейде. Синие флаги с белыми прямоугольниками в центре. Они рвались по ветру отчаянно и весело, и сразу становилось ясно, что у моря не кончаются, а только начинаются дороги.

Ленькину раковину я не сохранил. Она перепуталась с другими, которые в те дни выловил в Артиллерийской бухте (тогда там на месте нынешних пассажирских причалов еще тор-

чали деревянные зеленые сваи, а на высоком берегу не было ни похожего на корабль Института биологии южных морей, ни белого громадного обелиска). Потом я все эти раковины раздарил дома знакомым мальчишкам. И не жаль было. У меня сохранилось более ценное – память о первом дне в Севастополе и о двух встречах с Ленкой.

Он был первым человеком, с которым я познакомился в этом городе. Впрочем, была еще старушка, хозяйка комнаты, но она думала о квартирной плате, а Ленка был бескорыстен в стремлении разделить со мной свои радости.

Больше встретиться с Ленкой мне не пришлось. Но сейчас кажется, что я виделся с ним еще много-много раз. Потому что потом я встречал множество мальчишек, чем-то похожих на Ленку, Чем? Пожалуй, вот этой готовностью обрадовать другого человека. И еще – умением дружить. И любить свое море. И свой город...

Я их всегда считал своими товарищами, этих севастопольских мальчишек. Не только тех, с кем знаком давно и прочно. Даже тех, кто меня не знает.

Например, как эти двое...

Я уже не раз видел их здесь, на утренней улице. И хорошо запомнил. Один всегда спускается с крыльца двухэтажного дома, второй выходит из-под арки рядом с крыльцом.

Они, скорее всего, четвероклассники. Один – коренастый, невысокий, неторопливый. С короткой белобрысой челкой, пухлыми губами в трещинках и с носом-сапожком. На нем довольно мятые серые брюки с вытертыми добела коленями и оттопыренными карманами, а поверх пионерской рубашки – вязаная синяя безрукавка. У желтой сумки длинный ремень, но мальчик не надевает его на плечо, а держит ремень в руке, и сумка почти волочится по тротуару.

Я про себя называю этого мальчишку веселым именем Антошка. Мне кажется, его любят и ребята, и учителя, хотя он далеко не отличник и часто опаздывает на уроки.

А второго я мысленно зову «Меркуренок». Маленький Меркурий. В каком-то музее давным-давно я видел бронзовую статуэтку быстрогобога-мальчишки с крылышками на сандалиях и шлеме. Этот Меркуренок такой же худенький, гибкий, с бронзовым отливом загара на длинных ногах и тонкой шее. И вообще весь он шоколадно-бронзовый. Коричневый пиджачок от школьного костюма свободно болтается на узеньких плечах, он великоват для мальчишки и почти полностью прячет под собой легонькую пионерскую форму. А на бегу пиджачок взлетает, как коротенький плащ.

Крылатого шлема, конечно, нет, но жесткие, с медным отблеском волосы на темени топорщатся двумя параллельными гребешками – как прорастающие крылышки. А когда Меркуренок легко и широко шагает по ракушечным плитам, кажется, что и на его плетеных сандалях появляются маленькие крылья. Оттопыренная крышка большого портфеля тоже похожа на крыло.

Иногда Меркуренок быстро, как-то по-птичьи, оглядывается по сторонам. Но глаза у него не птичьи, не испуганные. Это темные продолговатые глаза, строгие и серьезные. А губы мальчишки будто спорят с глазами – у него широкий улыбчивый рот. Этот рот кажется особенно добродушным на тонком: и загорелом лице Меркуренка...

Мальчишки обычно выходили на улицу одновременно. И каждый раз я испытывал толчок досады и тревоги. Я знал, что снова буду свидетелем короткой, незаметной для прохожих драмы.

Ребята быстро взглядывали друг на друга и расходились – видимо, они учились в разных школах. Но не в том беда, конечно, что они расходились, а в том, как это делалось. Их взгляд был короткий, сбивчивый какой-то. И нерешительный, и насупленный. И все это в полсекунды. Посмотрят, будто хотят шагнуть друг к другу, обрадоваться, сказать что-то, и

тут же – раз! – будто стенка между ними. И повернулись, пошли в разные концы. Мечется коричневый плащик за Меркуренком, цепляется за камни и траву Антошкина сумка.

Я был уверен, что это два давних друга, которых развела большая ссора и обида. Такие друзья если уж ссорятся, то по очень важной причине. Они не выясняют отношений в обычной мальчишечьей драке или скандальном споре. Они страдают молча, и каждого гложет тоска по прежней дружбе. И подойти друг к другу не могут: мешает не стыдливость и не мелкое самолюбие, а что-то очень Серьезное. Такое, что не можешь пересилить и простить.

Да, но как жить без друга? Без Вовки, без Андрюшки, без Владика – без того, кто вчера был тебе как брат (а может, и лучше брата, потому что братьев мы не выбираем, а друга находим сами). И вот ночью мычишь в подушку, как от зубной боли, а на уроках не слышишь ни ребят, ни учителя и даже не читаешь в дневнике размашистые записи классной руководительницы.

...Сегодня Меркуренко вышел раньше Антошки. Сбежал с крыльца, порывисто оглянулся, чуть ссутулился и легкой своей походкой двинулся вдоль кромки тротуара.

Он был почти в полквартиле от своего дома, когда из-под арки появился Антошка. Меркуренко он увидел сразу. Несколько секунд он стоял с опущенными руками (сумка валялась у ног). Потом Антошка негромко, но с отчаянной решимостью (и с резкой жалобой!) сказал вслед Меркуренку:

– Сережа...

Между ними была чуть не сотня их мальчишечьих шагов, но тот услышал. И сразу встал, как по команде «замри!», И толчком повернулся.

Антошка медленно, боязливо поднял над плечом ладонь, будто хотел помахать и не решился.

Я был на другой стороне улицы, на одинаковом расстоянии от того и от другого. И все же я разглядел издали (а может, просто угадал), как широкий рот Меркуренка дрогнул и растянулся в улыбку. Гибкий коричнево-бронзовый мальчишка выдернул из-под накинутого пиджачка тонкую руку и замотал растопыренной ладошкой над головой с гребешками-крылышками.

– Се-ре-жа-а!! – ликующе завопил Антошка. И замахал двумя руками.

Тогда Меркуренко сдернул пиджачок-плащик и закрутил им в воздухе, будто подавал веселый сигнал с берега далекому кораблю.

– Вовка! – крикнул он.

– Ты ко мне приходи-и!! – счастливым криком отозвался Антошка-Вовка.

– Ладно-о!!

Они, улыбаясь и радуясь вновь обретенному счастью, стали пятиться и все махали друг другу, пока Вовка не врезался спиной в грузную тетеньку, которая дала ему шутивого шлепка. Тогда мальчишки громко засмеялись и бегом бросились каждый в свою сторону.

...Я иду по солнечной стороне, и мне так хорошо, будто я сам стал десятилетним пацанком и снова встретил давнего друга детства.

Я радуюсь за Вовку и Сережу – цепь их дружбы спаялась накрепко. Да здравствует город, где утро начинается с такой справедливости судьбы!

Да здравствует улица, где пробегающий навстречу мальчишка вдруг заглянул мне в лицо радостно и открыто – как четвероклассник Алька, с которым мы когда-то сидели на соседних партах и мечтали откопать клад на обрывистом берегу сибирской реки **Туры!**

Да здравствует море, которое искрится и синее в конце белых улиц и несет на себе далекие паруса яхт, похожие на летучие семена!

Да здравствует день, который начинается с такого хорошего утра!

Этот день, этот город распахнуты передо мной, время сделало мне щедрый подарок, судьба опять привела меня сюда.

Я знаю, что у меня сегодня будет много хороших встреч. Сперва я повидаяюсь с восьмиклассниками во дворе старинной, похожей на замок школы номер три – эти ребята, сами того не ведая, помогли мне написать книгу; о море и крепкой дружбе. Девочки будут вежливо улыбаться и задавать серьезные вопросы о литературе, а мальчишки толкаться и наперебой щелкать моим «Зенитом». Затем они утыкают мою рубашку новой порцией севастопольских значков...

Потом я загляну в яхт-клуб, где мой друг Олег Вихрев недавно стал капитаном новой яхты и готовит ее к дальнему плаванию.

Может быть, я поеду в Херсонес, где в солнечной тишине и стрекоте кузнечиков греются среди желтых камней и зарослей дрока тысячелетние мраморные колонны, а в сухой траве хрустят под ногами черепки древних ваз и кувшинов.

Надо еще потолкаться на рынке, заваленном разноцветными горами фруктов, потом пройти к школе на Одесской улице, повстречать там знакомого пятиклассника Владика Глущенко и наконец подарить ему давно обещанную книгу (я прихватил ее с собой). Владик тихонько обрадуется, будет посапывать остреньким, чуть веснушчатым носом и опять станет смущенно приглашать в гости, на улицу Очаковцев, чтобы познакомить с очень хорошим человеком – годовалым племянником Санькой...

Я люблю этот город. Разные у меня были в нем дни: были суровые, связанные с памятью о войне, с бедами и потерями; были пасмурные – с серыми дождями и неудачами. Но солнечных – больше.

А этот день – я знаю – будет долгим и беззаботным. И половину его я проведу в неторопливом бродяжничестве По тихим улицам Артиллерийской слободки и по Шестой Бастионной.

Шестую Бастионную я несколько раз пройду из конца в конец.

Ничего особенного нет в этой улице. Но для меня она удивительным образом переплелась с улицами детства. То пересекается с ними, то продолжает их, убегая к морским обрывам...

Далеко-далеко от моря...

Когда спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, так привязан к Севастополю, к морякам и кораблям, я говорю:

– Потому что в детстве мне очень не хватало моря.

Детство я провел в Тюмени. Тюмень тогда еще не славилась как столица нефтеносного края. Это был город с деревянными тротуарами на центральных улицах, довольно зеленый летом и тонувший в грязи осенью.

Наш дом номер пятьдесят девять стоял в самой середине улицы Герцена. Одноэтажная и немощная, эта улица по тогдашним масштабам считалась очень длинной. Начиналась она у старого Текутьевского кладбища, которое синело вдали, как неведомый лес, а кончалась у Земляного моста через лог, недалеко от района Большое Городище.

По вечерам над крышами Городища и дальними тополями горели очень яркие закаты. Со стороны заката брели с пастбища коровы. Я каждый раз поражался, из какой дальней дали шагают эти невозмутимые Милки, Машки и Зорьки. Ведь за Земляным мостом, за Городищем, за таинственными башнями старинного монастыря были, говорят, еще кварталы, дороги, военный городок со стрельбищами, а уж потом начинались луга и рощицы. Сам я до семи лет не бывал ни в том, ни в другом конце улицы. Порой мне казалось, что на востоке, за страшновато-загадочным кладбищем, и на западе, за чернеющими на закате тополями, сразу начинаются неизведанные края. С заповедными лесами и непохожими на Тюмень городами. И с морем...

Осенью сорок шестого года, когда мне было восемь лет, мы с мамой переехали с милой сердцу улицы. Недалеко переехали, за пять кварталов, на Смоленскую. И хорошо хоть, что недалеко...

Смоленская на первый взгляд ничем не отличалась от улицы Герцена. Те же домики, ворота и хлипкие деревянные тротуары. Но была она гораздо короче, несолидно виляла, и в концах ее никогда не светились ни восходы ни закаты. И я ни разу не мог представить, что за дальним краем этой улицы есть что-то необыкновенное.

И я то и дело убегал туда, где провел свое дошкольное детство. Там была родина. Там были друзья-приятели. Были и недруги, но даже они казались симпатичнее недругов на Смоленской. И там, в нашем длинном одноэтажном флигеле, по-прежнему жил холостяком дядя Боря.

Дядя Боря – это мамин брат. Уже тогда он был немолод и болен. Во время войны он перенес жесточайшую дистрофию, считался среди соседей полным неудачником, но душа и характер у него были неунывающие. Он учил меня делать луки и деревянные мечи, бумажные кораблики и самолеты, рассказывал о своем детстве на берегах Вятки, о шумных и дымных химических опытах, которыми увлекался в школьные годы. И при случае довольно безжалостно высмеивал меня, если узнавал, что я опять спасовал в стычке с вечным соперником Толькой Петровым.

Обитал дядя Боря в проходной комнатухе между Общей кухней и комнатами, где после нас поселилось большое семейство моего приятеля Вовки Покрасова. Имущество дяди Бори состояло из двух табуретов, трехногого Кухонного стола (четвертый угол был прибит прямо к стене), ходиков с картонным циферблатом и тяжелыми плоскогубцами вместо гири и оклеенного драной клеенкой чемодана, где лежала кое-какая одежда, бритва и потрепанная книжка «Евгений Онегин». Эта книжка была чем-то дорога дяде Боре, он ни разу не дал мне ее полистать.

Спал дядя Боря на железной койке с досками вместо сетки. Но, когда мы уезжали из этого дома, мама оставила дядюшке широкую кровать с узорчатыми спинками из железных завитушек и медными шишками в виде крошечных самоваров.

Да! Еще был самовар! Правда, подставка у него отвалилась и нижней частью он был засунут в старую, обгорелую кастрюлю. В другой такой же кастрюле дядя Боря варил картошку. Она вместе с хлебным пайком была в те годы почти единственной дяди Бориной едой. Но варил он картошку здорово! С лавровым листом, с укропом, в каком-то особом душистом пару. Клубни получались покрытыми мягкой розоватой корочкой и пахли, как райские плоды. Подуешь на картофелину, макнешь в крупную серую соль и, слегка обжигаясь, начинаешь жевать ее вместе с тонким пластиком хлеба...

Варили мы картошку на таганке. Дядя Боря ставил таганок на плиту, в зев большущей русской печи, сложенной в общей кухне. Зажигал под кастрюлей костерок из трескучих щепок. Отблески разлетались по стенам. Искрился в углу пузатый самовар (не дяди Борин, а Шалимовых, соседей), в погашенной лампочке дрожала оранжевая искра. Посидеть у огонька приходили с вечерней улицы ребята. Они вспоминали недавний футбольный матч с пацанами с улицы Челюскинцев или спорили, кто победит завтра в цирковой встрече по французской борьбе.

Дядя Боря включался в спор. Он любил азарт спортивных матчей и часто ходил смотреть борцовские соревнования на арене. Тем более что это было недалеко: деревянный, пестреющий фанерными афишами цирк стоял в квартале от нас, на углу Первомайской. Вечерами было слышно, как перед началом представления оркестр играет марш Дунаевского...

От цирковой темы разговор переходил на другое. Иногда дядю Борю просили рассказать какую-нибудь историю. И он, посмеиваясь, рассказывал о том, как в детстве с друзьями напугал вредную соседку: они выдолбили тыкву, намалевали на ней рожу, прорезали глаза и зубастую пасть, вставили внутрь свечку и поднесли такого «гостя» к соседкиному окну. Или о том, как он катался в тележке, запряженной громадным воздушным змеем. Или как ехидная коза съела его папку с документами, когда он служил в страховой конторе и ходил по дворам, переписывая хозяйственные строения...

Но иногда дядя Боря говорил о серьезных вещах. На пример, каким городом станет Тюмень в будущем. Он работал в плановом отделе какой-то строительной организации, и через него «проходили» многие чертежи и проекты.

Проекты были фантастичны. Оказывается, на нашей улице уже запрещено строить дома ниже двух этажей. В центре города будет возведено множество кирпичных зданий. А за рекой скоро построят – невозможно поверить! – шестиэтажную больницу. В городе, где верхом монументальности было несколько четырехэтажных домов, это казалось непостижимым. И мы притихали, пораженные грядущим размахом цивилизации... А дядя Боря щепал смолистую лучину и подбрасывал под кастрюлю. Кастрюля начинала булькать, крышка на ней подпрыгивала...

Но еще больше я любил зимние вечера, когда мы топили голландку.

Круглая, обитая черным железом печка стояла посреди флигеля и выходила на четыре стороны: половиной – в две комнаты Покрасовых, четвертушкой – к Шалимовым и еще четвертушкой – в дяди Борину каморку. Дверца находилась здесь, у нас с дядей Борей. Тяжелая, с выпуклым, узорным литьем. Чтобы открыть ее, нужно было открутить могучий винт и убрать чугунный засов. За тяжелой дверцей была еще одна – тонкая, с овальным отверстием – поддувалом.

Дрова в голландке разгорались стремительно. Печка начинала празднично гудеть, как топка на веселом пароходе (так мне казалось). Прижимаясь лицом к изогнутым прутьям кроватной спинки, я смотрел, как мечется в глазке поддувала желто-белое пламя. Тонкая дверца мелко дрожала. Не выдержав вибрации, круглый лепесток заслонки срывался и закрывал

поддувало. Тогда дядя Боря слегка отодвигал дверцу. Гул огня переходил в мурлыканье, оранжевый свет вырывался из печки и плясал на цирковой афише, где фокусник Мартин Марчес выкидывал из рукавов цветные ленты. Ленты выписывали в воздухе две буквы М...

Мурлыканье печки убаюкивало, и я не сопротивлялся дреме. Спешить было некуда, я ночевал у дяди Бори. Но тут с шумом являлся Володя Шалимов – студент лесного техникума – со своими приятелями. Приносили заиндевевшую на морозе гитару.

Меня деликатно выпроваживали с кровати, на ней рассаживались гости. Вваливался Вовка Покрасов с охапкой дров: его семейство посылало свою долю для печки.

Мы с Вовкой устраивались у трехногого стола и лениво расставляли на картонной доске шашки. У потолка повисали слои табачного дыма. Начиная рокотать гитара.

Или мне сейчас так помнится, или в самом деле все песни были о море и дальних краях...

«Прощайте, скалистые горы...»

«На рейде ночном легла тишина...»

«Ой вы, ночи, матросские ночи...»

«Плещут холодные волны...»

А потом разухабистая:

«В кейптаунском порту с какао на борту «Жанетта» набивала такелаж...»

Может быть, Володя глушил тоску по океанам: из-за сломанной и плохо сросшейся руки он не попал в морское училище-Гитара начинала рокотать тише и печальнее. Это наступало время песни о Диего Вальдесе, которого не пощадила судьба – сделала из вольного бродяги верховного адмирала. Потом на одних басовых струнах звучал тревожный кипплинговский марш:

Осторожно, друг: бьют туземцев барабаны —
Они нас ищут на тропе войны...

Дядя Боря иногда подпевал, а чаще молча слушал да подбрасывал в печку дрова. (Вот и Лешка Шалимов, Володин брат-пятиклассник, принес полешки). Дядя Боря прикуривал, ухватив желтыми пальцами выпавший на железный лист уголек. Лицо его было не улыбочным.

Он был в душе поэтом и путешественником, но жизнь получилась не такая. Надо было помогать матери и родственникам, пришлось работать поближе к дому на конторских должностях. Да к тому же не пойдешь в матросы с больным позвоночником. Но дядя Боря никогда не жаловался на судьбу и печальным бывал редко. Пожалуй, только во время песен. Наверно, они напоминали, что он до сих пор не видел моря...

Я ловлю себя на том, что далеко ушел от разговора о Севастополе. Но мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по этому городу. Все это неразрывно: комнатка с одним окном, старые ходики, гитара, афиша на стене, хорошие люди, которые грустили о море. И книга, которую я стащил у Лешки Шалимова.

Это случилось в начале июня. Дяди Бори не было дома, и я от нечего делать зашел к Шалимовым. Лешка сердито мастерил из загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. На меня он глянул с хмурым равнодушием. Вообще-то мы были хорошими знакомыми, почти приятелями, потому что несколько лет жили рядом. Но иногда Лешкин возраст брал свое, и тогда я чувствовал себя малявкой. Случалось, что Лешка с друзьями-ровесниками хихикал над моими большими ушами и пугал мохнатыми гусеницами, которых я жутко боялся. В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. Дразнил за голубой нарядный костюмчик – мне прислал его в посылке отец (он еще

не демобилизовался и служил в Германии). Прозвище было обидным и несправедливым, потому что я обновкой нисколько не хвастался. Просто больше не в чем было ходить, все прежние штаны и рубашки поистрепались.

Впрочем, Лешкины дразнилки были беззлобные. А по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время важной работы. Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смиренно присел на укрытую суконным одеялом койку.

На коричневом сукне лежала книга. На книге были разлапистые якоря и парусные корабли. И слова: «С. Григорьев. Малахов курган».

«Тюх... Тюх-тюх-тюх...» – затолкалось у меня сердце. Все, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. Книгу я тихо открыл и стал читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в бухту эскадру.

Страница за страницей... Я листал их неслышно и сидел не шевелясь, хотя ныла спина, а колющее одеяло кусало ноги. Я боялся лишним движением напомнить про себя Лешке. Если с пугачом не заладится, Лешка книгу отберет, а самого меня выставит.

Видимо, с пугачом ладилось. Лешка, не сказав ни слова, ушел, а через минуту на дворе грохнуло и перепуганно завопили куры. Выстрел встряхнул меня. Надо было принимать решение. Сказать Лешке «дай почитать»? Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю», или «не моя», или «иди ты на фиг, Кнабель»...

Я непослушными пальцами растегнул на животе перламутровые пуговицы, запихал книгу под куцую заграничную рубашечку и боком скользнул на кухню, а потом в комнату дяди Бори. Щелкнул на двери крючком и замер с книжкой у стола...

Через какое-то время (кто его знает, через какое!) Лешка задергал дверь.

– Кнабель! Это ты стырил книгу?

– Сам «Кнабель», – дерзко отозвался я, уповая на прочность крючка.

– Ну ладно, Славка. Давай сюда... – сказал Лешка довольно миролюбиво.

– Я только маленько почитаю.

Дверь задергалась изо всех сил.

– Давай сюда, кому говорят!

– Жила! Все равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о Севастополе было выше сил.

– Ну, только выйди, – нехорошим голосом предупредил Лешка.

В окно я увидел, как он присел на крылечко и стал скоблить спички для пугача.

Выходить я не собирался. Но в любую минуту мог явиться кто-нибудь из Некрасовых и пришлось бы отпереть дверь.

Я тихо откинул крючок. Потом проник в незапертую квартиру к Некрасовым, а оттуда через окно выбрался на улицу.

Домой я не пошел. Чего доброго, Лешка явится за книгой и туда. Я забрался в гущу желтой акации в сквере у цирка и просидел там с «Малаховым курганом» до вечера. Потом читал дома допоздна, а кончил к середине следующего дня, когда за окном плескался и лопотал теплый июньский дождик, перебиваемый солнечными вспышками.

Виноватый, готовый к заслуженной каре, но все равно счастливый, понес я книгу Лешке. По лужам. Лешка встретил меня миролюбиво. Даже не сказал «Кнабель». Может, потому, что я был босой, с ногами, заляпанными до колен грязью, а голубой костюмчик, истерзанный и перемазанный в пыльных кустах акации, потерял свой заграничный блеск. А может, Лешку подкупила моя виноватость. Или он что-то понял... В общем, он улыбнулся распухшими после недавней драки губами и самокритично произнес:

– Ловко ты вчера меня обкрутил... – Потом вытащил из кармана пугач и великодушно предложил: – Аида, жажнем...

Я побаивался жакать. Но признаться в этом Лешке... К тому же десятилетний Венька из повести «Малахов курган» не боялся палить из настоящей мортиры и даже медаль за свою стрельбу получил.

И мы за помойкой по очереди грохнули зарядами из пяти спичек (и я даже почти не жмурился). А про книгу Лешка сказал:

– Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть. А эту читай еще, если охота...

И я читал еще. На второй раз и на третий. Не спеша. Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, затопленных у входа в бухту, и про матросов на бастионах. В книге было много печального, но сильнее печали была гордость. Спокойная такая гордость людей, которые дрались до конца и сделали все, что могли. Тогда я впервые, смутно еще, почувствовал, что в самые тяжкие дни гордость для человека может быть утешением... Если он держался до последнего, если не сдался...

А еще в книге был сам город. Севастополь. Я читал о жутких бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у необозримого моря – тот, который видел Венька с крыши в начале повести. Тот, который нужен был мне. Уже тогда я представлял его совершенно отчетливо. Синие-синие бухты, желтые слоистые обрывы, оранжевую ребристую черепицу на белых домиках, каменные лестницы в запутанных переулках, полукруглые рavelины с амбразурами, маяки и бастионы...

Я рассматривал рисунки. Они были сделаны тонкими штрихами, очень понятно и удивительно похоже на то, что написано. Портреты севастопольцев, корабли, орудия. Может быть, сейчас эрудированные критики-искусствоведы нашли бы эти картинки излишне реалистичными и несовременными, не знаю. Мне они нравились. Не меньше, чем сама книга.

Потом, уже взрослым, я узнал, что рисунки для книги делал художник Павел Иванович Кузьмичев, который много лет работал в журнале «Пионер».

Однажды в редакции «Пионера» сильно затянулось какое-то совещание, и я провожал Павла Ивановича домой. Мы ехали в такси по вечерней Москве. По дороге я рассказал, как читал в детстве «Малахов курган» и как мне нравились иллюстрации.

Павел Иванович расчувствовался. И стал вспоминать, с какой радостью работал над рисунками,

– Сергею Тимофеевичу они тоже нравились... Мы с ним хорошо знакомы были. Знаете, я ведь помню, как он работал над своим «Курганом». С любовью работал, переживал. Однажды встречаю, а он говорит просто со слезами: «Похоронил я сегодня свою Хонюшку...»

Хоня – это старшая сестра Веньки, она умерла во время обороны города. Я помню в книге ее маленький портрет – на фоне покосившихся, торопливо сколоченных кладбищенских крестов...

Мы с Павлом Ивановичем поднялись к нему в мастерскую и засиделись до полуночи. Он подарил мне свою гравюру «1942 год». Одноногий солдат на костылях движется куда-то по размытой дороге, а на горизонте разрушенный город.

Войны не щадили ни людей, ни города...

После Первой обороны от Севастополя остались груды обгорелых камней. А в те дни, когда я впервые прочитал об этом лучшем на свете городе, он опять лежал в развалинах. Я это знал, и от такого горького знания у меня временами появлялась тяжкая, совсем не мальчишечья тоска. Все равно как если бы у меня на глазах разграбили, расстреляли; разбомбили мою улицу Герцена. Мне даже снился тогда пустой черный сон: будто я и мама идем

откуда-то осенним вечером, сворачиваем с улицы Дзержинского к нашему дому – а дома нет. Угольные, мокрые от дождя развалины, обгорелый, обломанный тополь, желтая лампочка на кривом столбе, а вокруг нее летящий бисер дождя. И глухо, мертво вокруг. Я поворачиваюсь к маме, но и мамы уже нет. И некуда бежать, бесполезно звать, потому что пусто и темно – везде... И я стою без слез. И не страшно даже, а только чудовищно одиноко и беспросветно.

Избави нас судьба от таких снов...

Дядя Боря говорил, что Севастополь уже восстанавливают и через несколько лет он будет лучше прежнего. Это меня утешало (хотя не надо, чтобы «лучше», пускай станет такой, как прежде!). А еще утешало, что враги заплатили за севастопольские развалины ой-ей-ей какой ценой! Это была та самая гордость, которую я впервые почувствовал в книге «Малахов курган». Даже больше – это была гордость победителя. На капельку такой гордости я имел право: мой отец тоже был на этой войне. Ну, пускай не в Севастополе, но война-то была общая для всех солдат и для всех городов. Папа кончил войну в Берлине и расписался на рейхстаге, и есть у него медаль «За победу над Германией» и орден Красной Звезды...

Только что-то все не едет и не едет домой он...

Как-то в конце августа тетя Лена, Лешкина мама, спросила:

– Эй, бывший соседushка, хочешь в кино?

Она работала администратором в кинотеатре имени Двадцатилетия ВЛКСМ. В просторечии этот кинотеатр назывался «Детский». Тетя Лена иногда брала компанию ребят со двора и проводила в зал по знакомству, без билетов. Контролерши ставили нам несколько стульев в углу у высокой печки, а кое-кто из нас усаживался на половицы. Экран был невысоко от пола, сидели мы совсем близко от него, и мерцающее чудо черно-белого кино буквально обнимало нас.

Новых фильмов было немного. Но и старые для нас, мальчишек, были открытием. Сопя от волнения, мы смотрели «Щорса» и «Чапаева», «Пархоменко» и «Котовского», «Мы из Кронштадта» и «Юность Максима»...

В этот раз с тетей Леной пошла привычная наша компания. Я теперь вспоминаю ее и вижу четко, как на фотографии. Рыжий недруг Толька в пыльных оранжевых трусах до колен, прожженной на пузе полинялой майке и громадной кепке – он воображал себя знаменитым вратарем из одноименной картины. Толькина длинная и прыщеватая сестра Галька в кокетливом венке из поздних одуванчиков и выгоревшем до белизны платице. Вовка Покрасов – стриженный под машинку, с распухшим носом (треснулся о стропилину, когда мы лазили по чердаку), в обвисшей безрукавке и гремучих брезентовых штанах до пят. Лешка в мятых, но почищенных брюках и новенькой ковбойке – поскольку на глазах у матери. И я в своем «трофейном» костюме, потерявшем уже небесный цвет и перламутровые пуговицы, – вместо них пришиты были честные латунные пуговицы со звездочками, а одна даже с якорем... И все мы, кроме Гальки и Лешки, босиком, исцарапанные в бурных дворовых играх и футбольных схватках... Только не помню, какой же это год: сорок шестой «ли сорок седьмой?»..

– А какое кино? – спросил я у Вовки.

– Вот балда, не слыхал, что ли? «Малахов курган»!

Что? Нет, правда? Вот чудо-то... Неужели я увижу то, про что читал в Лешкиной книжке?

Нет, было не «про то». Было про войну с немцами. Совсем недавнюю. Про гибель нашего эсминца, про немецкие танки, про пятерых моряков, которые не пустили эти танки в Севастополь. Очень просто не пустили – пошли под гусеницы с гранатами.

Просто?..

Попрощались, отложили ненужные тяжелые пистолеты, взяли по связке гранат и пошли, один за другим. Навстречу лязгающим машинам. Зная, что через несколько секунд вспышка и потом – ничего...

Ни-че-го.

...В то лето меня часто мучила мысль, которая когда-нибудь приходит к каждому человеку: зачем я живу, если все равно будет конец? Если все равно наступит момент, когда меня не станет? Понимаете, *меня*! Совсем не станет. Тогда зачем все на свете? Зачем что-то делать, ходить в школу, куда-то спешить, с кем-то дружить, читать книги? Ведь *все равно* ... Эта мысль хватала за сердце неожиданно, во время игры, купанья в реке, запуска змея. И тускнел яркий день. Страх не было, но становилось необъяснимо и безнадежно: *зачем?*.. Потом эта мысль милостиво отступала, давая место радостям жизни. Но я знал, что она, эта оглушающая, как удар, тоска может упасть на меня снова, и боялся заранее. Потому что понимал: ответа я не найду.

И вот – это кино. Про жестокий, про смертный бой, когда спасенья нет. Как пять человек зло и спокойно сами идут навстречу смерти.

Почему *спокойно*?

«Потому, что за ними Севастополь», – подумали.

Сейчас эта мысль может показаться неправдоподобной для мальчишки. Звучит как лозунг какой-то. Но тогда это были не слова, а скорее ощущение. Я почувствовал, что люди с гранатами любили Севастополь сильнее себя. Конечно, не только Севастополь, а многое: всю нашу землю, своих родных, свои корабли, своих товарищей. Но в тот момент для меня это соединилось в слове «Севастополь». Самом лучшем для меня слове.

Они любили его так, что это было самым главным. И поэтому не боялись умереть. Мало того – они *не боялись жить*. Они знали *зачем*. Жизнь и смерть имели для них четкий смысл. И тогда, по дороге из кино, я своим колотящимся ребячьим сердцем впервые смутно ощутил этот смысл человеческого бытия. Очень неясно, по-детски, без слов, но ощутил. Живешь по-настоящему, если что-то любишь. Что-то или кого-то. Если ты не один. Если вокруг тебя есть то, что дорого. Если ты – сам частичка этого. Тогда – не страшно...

Я не смог бы про это сказать да и не собирался. Но я ощущал радостное спокойствие. И чтобы другим стало так же хорошо, сказал:

– Все равно его скоро опять построят.

– Кого? – не понял Толька. Он, если что-нибудь не понимал, всегда говорил «кого».

– Севастополь, – сдержанно ответил я.

– А тебе-то чё? – сказал Толька. – У тебя там невеста, чё ли?

И он хихикнул.

Я понимал, что он не против Севастополя, а против меня. Из-за рыжей своей вредности. Но все же я очень разозлился и сказал Тольке, что он конопатая коза и унтер-фон-сопель-фюрер. На последнее Толька жутко обиделся, и через пять минут мы подрались на нашем дворе за поленницами. При секундантах Вовке Покрасове и Амуре Рашидове, который всегда был тут как тут при таких случаях. Драка получилась жидкая и кончилась вничью, потому что у Тольки лопнула резинка в трусах, и секунданты нас развели. Мы помирились.

А что нам оставалось делать? Мы и раньше с ним дрались и мирились множество раз. И чувствовали, что так будет впредь. Но драки были все же лишь мимолетными эпизодами в нашей жизни, а сама жизнь – удивительно длинной. Каждый летний день был бесконечным и солнечным. Мы понимали, что жить надо по-хорошему. И когда дядя Боря дал мне три рубля на маленькую порцию мороженого, я разрешил Тольке лизнуть у этой порции краешек...

Алька

В Севастополе у меня есть «свое» место для отдыха. Скамейка перед школой номер сорок четыре. Это в самом центре. Рядом гостиница «Севастополь», рынок, на котором можно купить гроздь винограда, сушеного краба или яркую корзину для фруктов; универмаг, куда то и дело забегаешь за фото пленкой; Артиллерийская бухта с причалами пассажирских катеров и паромов, а за ней, у подножия Хрустального мыса, – городской пляж. В общем, приезжему человеку трудно миновать улицу Одесскую. Ходишь, ходишь; ноги загудят, а тут, пожалуйста, скамейка.

Я привык отдыхать здесь давным-давно, когда еще был в Севастополе новичком.

Говорят, раньше, года до пятидесятого, здесь тянулся Городской овраг. Сейчас на месте оврага детский парк с каруселями, фонтаном и крошечным кинотеатром в раскрашенном кузове старого автобуса. Когда в автобусе крутят мультфильмы, Веселая ребятня снаружи приклеивается к щелястым стенам – как пчелы к сладкой арбузной корке...

Одесская улица, которая раньше проходила по правому берегу оврага, теперь – сплошная каштановая аллея. В сентябре разлапистые листья на старых деревьях подсыхают по краям и шелестят по-особому: будто шепотом слова выговаривают. Южное небо в разрывах среди листьев кажется еще более густым и синим. Сквозь листву солнце бьет лучами, похожими на стеклянные спицы. Оно рассыпает по песку и асфальту, по скамейкам и стенам киосков круглые светлые пятнышки. Они дрожат и скачут друг через друга. Когда раздается звонок и со школьного крыльца начинают разбегаться ребята, солнечные кружочки вспархивают, словно поднятые ветром. И прыгают по разноцветным лакированным ранцам, по смуглым ногам и голубым рубашкам, запутываются в волосах мальчишек и девчонок, вспыхивают в них белыми искрами...»

Это похоже на маленький солнечный праздник. Я смотрю на него много лет подряд, каждый сентябрь, и никогда не надоедает.

Мне все здесь знакомо: и серая школа за рядами каштановых стволов, и ее высокое крыльцо с бетонными ступеньками и парапетами, и дверь с шелушащейся коричневой краской, и даже голос этой двери.

Вот она приоткрывается; и начинает негромко визжать: з-з-зы-ы-ы. Видимо, кто-то не очень сильный налег на нее плечом и отодвигает. Визг усиливается: з-з-зи-и-и-и! Соппротивление двери сломлено, она распахивается. Победитель – щуплый, похожий на Буратино первоклассник – выскакивает на крыльцо и щурится от уличной яркости. А дверь за спиной – бух! Захлопнулась. Но ненадолго. Тут же опять:

Ззи-и... Бух! И снова з-зи-и-трах!

И все чаще: з-з-бух, з-з-бух! Бух-бух-бух!

Уроки кончились. Школьный народ спешит по домам. А впереди еще почти целый день – безоблачный, летний, с теплым морем, с играми, с рыбалкой, с друзьями... Дверь пушечно салютует этому дню...

Ближе к вечеру здесь поспокойнее. По одному расходятся ребята с продленки. Около пяти часов появляются на крыльце третьеклассники – они учатся во вторую смену. Эти люди не так спешат. Может быть, действует вечернее настроение?

В такой вот спокойный час я познакомился с третьеклассником Вихревым.

...Дверь бухнула, и третьеклассник появился на крыльце.

Я опишу его подробно. Не потому, что он показался особенным, а наоборот. Это был «типичный представитель» севастопольской школьной братии младшего возраста. Загорелый, с выбеленными солнцем волосами (когда их подстригут, на висках и шее остаются

участки светлой кожи), с царапинами и ссадинами на коленях и локтях. Ссадины разной давности: и совсем свежие, и покрытые коричневой корочкой, и очень давние – корочка отвалилась, и на ее месте розовые пятнышки кожи, окруженные несмываемыми колечками вьевшейся зелени и пыли... Костюм тоже самый обычный; голубая рубашка с латунными пуговками (застегнутыми у ворота, но расстегнувшимися на, животе), синие пионерские шорты, которые, сколько ни утюжь утром, к вечеру все равно мятые, как гармошка; сандалеты – их застегнутые ремешки торчат в стороны, будто петушиные шпоры... Октябрятская звездочка рубиново блестит на рубашке, белеют широкие ремни ранца...

В общем, совершенно обыкновенный третьеклассник, и я обратил на него внимание лишь из-за одной особенности – из-за широкого бинта на голове. Повязка косо шла через лоб и прихватывала правое ухо.

Мальчишка снял ранец с алым фрегатом на белой крышке. Открыл, вытянул тетрадку. Не спеша, но без тени колебаний выдрал из нее двойной лист. Оторвал половинку и деловито смастерил бумажного голубя. Послал его к верхушкам каштанов. Голубь, однако, туда не полетел, а сделал круг над асфальтом и лег у ступеней. Мальчишка подобрал его, запустил еще раз. И еще... Он делал это не улыбаясь и, кажется, без особой охоты,

Наконец голубь сел недалеко от моей скамейки. Мальчишка подошел, и мы встретились глазами.

– Покажи, – попросил я.

...Когда-то я хорошо делал бумажных летунов... Вырезать из тетрадных обложек планеры меня научил брат Сергей. Как мастерить из тонких листов самолеты с хвостовым оперением, мне показал Лешка Шалимов. Сворачивать из бумаги голубков и узкокрылых ласточек обучил дядя Боря. А потом я сам полюбил изобретать новые конструкции. Брат и сестра уходили ранним утром на оборонный завод, мама спешила на работу в военкомат, а я, дошкольная личность пяти с половиной лет, оставался один – после строгих наказов не съедать сразу утром свой скромный обед и не отпираться незнакомым людям.

Я запирали дверь на крючок и устраивался на кровати. Прихватив старые тетради сестры и ножницы... И потом весь день реяли в комнате голуби и ястребки, садились на печку, на подоконники, атаковали лампочку, повисшую на пыльном крученом проводе... Эти птицы и самолетик были друзьями моего детства.

Нынешние ребята не знают очень многих игр, с которыми росли мы. И я рад, что с ними осталась хотя бы эта давняя игра – бумажные голуби...

– Покажи, – попросил я.

Мальчишка без улыбки протянул голубка. Это была незнакомая мне конструкция. И я счел, что она не очень удачная.

– А ласточек делать умеешь?

Он мотнул головой: не умею.

– Листок есть?

– Там, – он кивнул в сторону крыльца.

Мы поднялись по ступеням. Половинка тетрадного листа была прижата ранцем к бетонному парапету.

Я смастерил тонкую ласточку. Но, видимо, мастерство поубавилось за долгие годы: ласточка полетела тяжело и клюнула на асфальте кожуру лопнувшего каштана.

– Д-да... – неловко сказал я. – В молодости бывало не так.

– Попробуйте еще раз, – деликатно предложил мальчишка и принёс ласточку.

Я поправил ей хвост и крылья. Пустил аккуратнее. И она вдруг пошла, пошла, взмыла в струе прилетевшего от Артбухты ветерка...

– Во! Теперь как надо, – обрадовался мальчик. За меня обрадовался.

– Тебя как зовут?

– Алька.

Я даже засмеялся. Это было здорово! Алька – счастливое для меня имя.

Алькой звали мою соседку по парте в первом классе. Она спокойно и молчаливо заботилась обо мне, оборачивала газетой мои потрепанные учебники, подкармливала своими завтраками, делилась промокашками и карандашами...

Алькой звали моего товарища в четвертом классе. С ним бежали мы в пригородный лес и мастерили из фанеры и жести рыцарское вооружение. Жаль, что я скоро уехал с той улицы...

Алька – это было имя соседки-семиклассницы на улице Герцена. Мы собирались у нее по вечерам и читали книги про Тома Сойера, Робинзона и человека-невидимку; Я, второклассник, был в эту Альку немного влюблен и однажды признался ей в этом. Она отнеслась к признанию без насмешки.

Алькой звали храброго малыша в моей самой любимой гайдаровской книжке...

Алькой я назвал семилетнего героя своей первой в жизни повести. А когда эту повесть напечатали, ко мне, явился вдруг восьмилетний читатель, из соседнего переулка и сердито потребовал ответа: почему я в книжке про него многое перепутал, а кое-что просто-напросто сочинил? Этот Алька (которого до той поры я в глаза не видел) стал моим верным адъютантом и другом. В шестьдесят пятом году мы вместе приехали в Севастополь и бродили по старым улицам Корабельной стороны, по заросшим бастионам и по развалинам Херсонеса... Алька полюбил Севастополь так же, как я. Потом он стал взрослым, очень серьезным. Женился. И сразу после свадьбы повез в Севастополь жену – показывать самые любимые места...

И вот опять Алька...

Алькой может быть кто угодно: Алевтина и Александр, Алена и Алексей, Алла и Альберт... Этот оказался Олегом. Олег Вихрев, ученик третьего «А», школа номер сорок четыре, вторая смена.

– Смена-то кончилась. Что же ты, Алька, домой не идешь?

– Да... так просто. Маму жду...

– А она где?

– Да... так просто. Там... С учительницей разговаривает.

– А о чем?

– Да... так просто, – вздохнул он.

– А с головой-то у тебя что? – спросил я, дипломатично меняя тему. – Почему забинтована?

– Это не голова, а ухо, – сумрачно сказал он. – Оторвал...

– Как? Совсем?!

– Не... Висело чуть-чуть. Пришили.

– Бедняга. Как же это ты?

– Да просто. С дерева полетел, ухо зацепилось...

Я понимающе кивнул. Характер собеседника начал прорисовываться.

И тут появилась Алькина мама. Красивая, моложавая, строгая. Глянула на Альку и меня сквозь большие дымчатые очки. Я торопливо представился и сообщил, что собираюсь написать для «Пионера» очерк о севастопольских школьниках и вот, оказавшись у этой школы, познакомился с ее сыном.

Мама Вихрева вдруг возликовала:

– Отлично! Превосходно! Напишите про него, обязательно напишите! Пусть все узнают, что это за человек!

Оказалось, что третьеклассник Олег Вихрев – человек беспутный и безответственный. Думаете, он только здесь, на крыльце, занимается голубями? Нет, он пускает их на уроках! Именно поэтому и пригласила учительница маму Вихреву для подробной беседы. Кроме того, учительница говорит, что...

Через две минуты было ясно: если Олег Вихрев и может быть упомянут в очерке, то с единственной целью: "Дети, не будьте такими".

Однако Алька не сник под множеством обвинений. Факта с голубями он не отрицал («Я один, что ли?»), но другие упреки отмел, а в адрес учительницы выдвинул ряд своих претензий. Честно говоря, кое-какие из них показались мне справедливыми. Я тут же непедagogично сообщил об этом маме – Людмиле Васильевне.

– Спелись уже... – печально сказала она. – Но вы еще не знаете всего! Пусть он расскажет, как его силой приходится гонять в музыкальную школу, в которую он сам (*сам!*) просил его записать в прошлом году. А парусная секция? Из-за собственного разгильдяйства перевернулся на «оптимисте»! В феврале!

При упоминании о музыкальной школе по лицу третьеклассника Вихрева прошла легкая судорога. А насчет яхт он решительно сказал:

– Ну их, «оптимисты» и «кадеты», мелочь эту. Я лучше с папой.

Оказалось, что папа – военный музыкант по профессии и старпом на большой крейсерской яхте «Таврида». Я обрадованно признался, что тоже имею отношение к парусным делам.

– Ну, все, – скорбно сказала Людмила Васильевна. – Значит, как сойдется с мужем, будет все тот же разговор: тросы, стакселя, оверштаги, талрепы и курсы-галсы. А я-то думала, что познакомилась с нормальным человеком... Но все равно заходите в гости. В воскресенье пойдем на «Тавриде».

Но ни о каком воскресенье не могло быть речи, В кармане лежал билет до Москвы. На завтрашний поезд. Единственное, что я успел на следующий день, это забежать к Вихревым, на улицу Бакинскую, принести Альке свои книги и сфотографировать его в ближнем скверике. С бумажной птичкой в руках и ранцем за плечами (а на ранце фрегат со всеми парусами – Алька специально повернулся так, чтобы его было видно).

Потом пошли мы к лестнице, к спуску, что тянется вдоль стены старинного укрепления и называется Крепостной переулком. Он ведет почти прямо к Алькиной школе. Я хотел проводить Альку, а у рынка сесть на троллейбус, чтобы ехать в гостиницу «Крым»: собирать чемодан.

– А зачем? – удивился Алька. – Вы же пешком быстрее дойдете. Прямо по Шестой Бастионной.

Он помахал рукой и побежал вниз по кремнистой тропинке, вдоль лестницы и полуразрушенной желтой стены с бойницами. И ранец с алым фрегатом прыгал у него на спине. А я вышел на улицу, которая начиналась тут же, рядом.

И открыл для себя Шестую Бастионную.

Бастионы и форты

Когда поезд проскочил уже все туннели и, замедляя ход, катит по берегу Южной бухты к вокзалу, сердце у меня начинает «выбиваться из ритма». С волнением и даже с тревогой какой-то колотится, хотя причин для тревоги нет, а есть только радость. Так бывало в детстве перед началом праздника, которого долго-долго ждешь...

Я знаю во всех подробностях, что будет дальше. Вагон остановится, я шагну на горячий от сентябрьского солнца перрон и по мосту над путями пройду к троллейбусной остановке напротив заросшего дроком обрыва с каменной лестницей. Троллейбус, подвывая на подъемах, привезет "меня к площади Ушакова, над которой вознеслась башня Матросского клуба с золоченым шпилем и квадратными курантами. Куранты ударят один раз и сыграют «Легендарный Севастополь». Час дня.

Через площадь я дошагаю до гостиницы «Украина», где заботливые работники детской библиотеки заказали мне номер. Конечно, сначала администратор скажет, что номеров нет и ни про какую заявку она не слышала. И конечно, потом заявка найдется и номер тоже. Из него я позвоню домой, в Свердловск, и узнаю, что дома все в порядке. После этого исчезнут последние беспокойные мысли и останется в душе ощущение спокойного и беззаботного праздника.

Я понимаю, что в этом большом городе сейчас не у всех хорошее настроение. Люди живут в заботах, живут в трудной работе. У кого-то, наверно, сегодня несчастливый день. Кого-то грызет тревога. Я понимаю этих людей, потому что сам жил так целый год. Но именно поэтому я могу позволить себе праздник на несколько дней. Весь год я ждал этого праздника – свидания с городом, который люблю больше всех городов на Земле. Свидания с Друзьями.

Сейчас я выйду из гостиницы, неторопливо двинусь по Большой Морской, потом по улице Адмирала Октябрьского поднимусь до площади Восставших. Здесь вздымается стекляннно-высотная гостиница «Крым», от которой убегает вправо, к морским обрывам, Шестая Бастионная.

Впрочем, для меня начинается она не от этого ультрасовременного отеля, а от домика с зеленой калиткой. В каменный столб у калитки вделано чугунное ядро времен Первой обороны,

...Я знаю, что многих удивит моя привязанность к этой улице. Самая обыкновенная улица. В меру зеленая, в меру шумная – часто проскакивают по неширокому асфальту автомобили. Здесь одноэтажные и двухэтажные белые домики, каменные заборы, не очень ухоженные газоны, в которых ребяташки по вечерам жгут иногда безобидные костерки. Не центральная и не окраинная, она как бы служит границей между главными городскими кварталами и Артиллерийской слободкой (это название осталось со времен парусных линейных кораблей и бронзовых карронад). И очень она похожа на другие соседние улицы.

Похожа, и все-таки есть в ней что-то неповторимое. Для меня. Она мне кажется особенно севастопольской. Во всем – начиная от названия и кончая мелочами: кольцом якорной цепи, что ржавеет в пыльной траве у забора; треском деревянной вертушки, которую крутит над калиткой прилетевший с моря ветер; сухими раковинами улиток на шероховатых камнях маленькой оборонительной башни Шестого бастиона...

Но, наверно, дело не только в этих черточках и не в названии. И славных названий, и признаков приморской жизни в городе сколько угодно. Дело в том, что Шестую Бастионную мне показал хороший человек Алька Вихрев. И она всегда приводит меня к друзьям...

Всю улицу можно прошагать за пятнадцать минут. Но мне торопиться некуда. Я бреду по Бастионной, то и дело сворачивая в улочки Артиллерийской слободки. Это старый город с домиками под черепицей. Четыре десятка лет назад огонь и снаряды разгромили и опалили эти кварталы, но люди отстроили свои дома заново – на тех же фундаментах, в том же виде, какими были они в прежние времена. Стены домиков сливаются с белыми заборами, над которыми висят на жердях плети винограда. Здесь много крутых, извилистых спусков, кремнистых тропинок, каменных лесенок-трапов и заросших жесткой травой тупичков. В траве рассыпаны мелкие желтые цветы.

Я очень люблю эти места. Если бы не антенны над оранжевой, похожей на корытца черепицей, могло бы показаться, что ты попал в эпоху Первой обороны...

А еще эти улочки мне напоминают детство. Даже не знаю почему. Они совсем не похожи на деревянные улицы старой Тюмени с ее дощатыми тротуарами и заборами, с мохнатыми, совсем не такими, как на Юге, тополями и пыльной желтой акацией. Но что-то неумовимо сближает их. Может быть, тишина? Или эта россыпь мелких цветов без названия? Или дело в том, что в детстве я мечтал как раз о таких, вот лестницах со стертыми ступенями, о заборах с черными вмурованными ядрами, об узких проходах среди ракушечных стен? Много раз виделось, как босой, веселый, свободный выбегаю из такой каменной прохладной улочки-щели на солнце – и синевой бьет в глаза близкое море!

И может быть, из моего детства прибежала сюда эта коричневая от загара, коротко стриженная девчушка в цветастом сарафанчике?

Девочка – этакое серьезное большеглазое существо лет шести – топает через маленькую площадь (к этой площади с сухим деревом посередине сбегаются сразу пять похожих на декорации улочек). Девочка несет совсем не девчоночью вещь – громадный, с себя ростом воздушный змей. Мочальный хвост змея тащится по кремнистой, сверяющей блестками земле. Его хватает зубами и лапами взятый щенок песочного цвета. Девочка не оглядывается; наверно, считает непедагогичным обращать внимание на хулиганские выходки щенка.

В двух шагах от меня девочка останавливается и поднимает коричневые глазищи. Словно уверена, что я обязательно заговорю с ней.

– Какой громадный, – говорю я, глядя на змей. – Летает?

– Летает, – произносит она неожиданно низким, сипловатым голосом. – Когда ветер есть. А сейчас нету.

– А куда ты его несешь?

Она кивает в сторону:

– На спуск. Там легче запускать.

– Но ветра-то нет!

– Дениска придет из школы, и будет ветер, – сообщает она.

Мне совершенно нечего возразить против столь решительной метеосводки.

– Ну, счастливо, – говорю я.

Девочка кивает и топает дальше. Щенок, приветливо обнюхав мои сандалеты, догоняет мочальный хвост. А я сквозь солнечное тепло и безлюдье белых переулков не спеша выхожу на Катерную, потом опять на Шестую Бастионную. И теперь уже не сворачивая, иду в ее конец – туда, где сходятся улицы Адмирала Владимирского, Бакинская, Крепостной переулок...

На поросшем сурепкой бугре стоит желтый двухэтажный дом. Его угол похож на корабельный нос. В этом доме живет Алька Вихрев, с которым я познакомился пару лет назад. Живет с мамой – учительницей музыки, папой – военным музыкантом и семилетним братом Роськой.

Роську я вижу на откосе, он с двумя приятелями колотит кирпичом по колесу самоката – видать, заело. Роська поднимает голову и замечает меня. Через секунду он мчится, летит над верхушками травы мне навстречу. Я вскидываю его над головой...

Потом я несу Роську на плечах к дому, и он с высоты сообщает новости. У папы выходной, он дома. Мама тоже пришла с работы, и всем попало: Роське просто так, Альке за двойку в «музыкалке», папе за то, что опять собирается на яхту, где и так «торчит всю свою жизнь». Но папа все равно собирается, потому что надо чинить порванный стаксель.

Папу Вихрева я нахожу во дворе, у сарайчика с дровами и верстаком: Олег-большой (именуемый так в отличие от Альки) занят непонятным делом – гнет в широкий обруч длинную дюралевую трубку. Он объясняет, что это для штурвала. На «Тавриде» вместо румпеля поставили большое рулевое колесо – с медным кольцом, точеными рукоятками, в точности как на старом паруснике. Сплошная романтика. Но романтика эта может выйти боком: во время шторма, когда яхту швыряет вверх-вниз, можно запросто напороться на рукоятку грудью или пузом, и белый свет покажется с овчинку. Чтобы он, белый свет, сохранял нормальные масштабы, надо поверх штурвальных рукояток укрепить этот обруч...

Но, конечно, разговор о штурвале начинается не сразу. Сначала старший Вихрев снимает очки и – громадный, лохматый, в лопнувшей на плече тельняшке – обхватывает меня лапами, которые больше похожи на клешни боцмана, чем на изящные руки музыканта. Минут десять мы выкладываем друг другу самые срочные новости, потом Олег предлагает:

– Если не очень голодный, давай пока смотаемся на яхту. А то Люда загонит нас за стол и в клуб сегодня не пустит.

Я понимаю серьезность опасений и говорю, что совсем не голодный. Роське дается наказ:

– Маме пока ни гугу, что дядя Слава приехал. Понял?

– Так точно, товарищ старпом!

– Бежим! – командует папа Вихрев.

Яхт-клуб в двух кварталах. Он расположен на месте старой Александровской батареи. В конце Первой осады батарея была взорвана, потом ее отстроили, поставили новые орудия, но после Отечественной войны уже не восстанавливали – устарела. Теперь в сводчатых погребах и бетонных капонирах – кладовки, где хранится имущество яхтенных экипажей. Здесь, среди развешанных по стенам тросов и корабельных фонарей, среди компасов, карт, лотий и спасательных кругов, можно было бы снимать какой-нибудь фильм о пиратах и кладах. Одни двери чего стоят! То из сплошного железа с пудовыми петлями и засовами, то из могучих решеток...

На скользком пластмассовом ялике мы переправляемся на «Тавриду» – стальную крейсерскую яхту с десятиметровым корпусом и шестнадцатиметровой мачтой. «Таврида» ошвартована у плавучей бочки. Пока плывем, я вбираю в себя морской воздух так, что легкие скрипят и трещат по швам.

На палубе двое молодых и незнакомых мне матросов, студентов по виду, возятся с порванным стакселем. Олег отдает им дюралевое колесо и распоряжения. Мы спускаемся в рубку. Здесь пахнет вперемешку машинным маслом, морской водой, деревянным лаком, пеньковым тросом – неистребимый и волнующий запах корабельного помещения. На кожухе мотора лежит широкая доска, заменяет стол. На столе – пачка стенгазет. Олег объясняет, что эти газеты экипаж выпускал во время июльского похода в Батуми.

Я начинаю листать. Газеты что надо, особенно карикатуры. Как говорится, с морским рассолом. Олег рассказывает о плавании. Сверху нас окликают, мы поднимаемся на палубу, чтобы помочь привинтить к штурвалу обруч. То есть Олег помогает, а я любуюсь морем и берегами. В море нет-нет да и проблеснут пенные гребешки (видимо, вернулся из школы Денис, братишка той девочки со змеем, и позаботился о ветре). Сигнальные флаги над выш-

ками клуба трепещут. Вблизи от нас, между ошвартованных у бочек парусных крейсеров, как пестрые бабочки, носятся ребячьи яхточки – «оптимисты». В глубине бухты синеют громады военных кораблей. Чайки перелетают с буйка на буюк и качаются на них, как ребятишки...

Покончив со штурвалом, Олег опять зовет меня в рубку. Показывает новую книгу о парусниках. И мы снова ведем неторопливую беседу о всяких корабельных делах...

Яхту тихо подымает и опускает на ровной зыби, и я наконец чувствую, что от такого монотонного качания (да еще на пустой желудок!) мне не по себе. Мы опять выбираемся на бак.

Ого! Поговорили! Солнце уже на самом краю неба. Оно медно-красное, продолговатое. Горизонт дымчатый. Барашки исчезли, зыбь стала пологой. Вода как бы составлена из разноцветных зигзагов – пунцовых, сизых, розовых, фиолетовых. Дальше к горизонту она сливается в общую поверхность лилового тона, и солнечный шар там уже не дает отражений...

Солнце утонуло, зигзаги на воде погасли, а с берега доносится крик:

– Папа! Дядя Слава-а!

– Алька!

Мы подгребаем к пирсу.

Алька стоит под яркой лампочкой и машет рукой.

Вид у Альки крайне живописный. Ярко-синяя рубаха пестрит рисунком из желтых разлапистых якорей; мятые брезентовые штаны обрезаны у колен крупными, разлохмаченными зубцами; у старых незашнурованных полуботинок вывалились наружу «языки», и Алькина обувь похожа на пиратские башмаки времен Моргана и Флинта. Опоясан Алька, естественно, флотским ремнем; ремень обшарпанный, но надраенная бляха сияет под лампочкой... Уже потом я узнаю, что Алька соорудил этот флибустьерский наряд специально для выходов в море: нынешним летом отец зачислил его юнгой на «Тавриду».

Алька все машет рукой, а я приглядываюсь к нему – какому-то незнакомому, не прежнему. Дело, конечно, не в костюме. Я знаком с Алькой два года, виделся с ним последний раз прошлой осенью, и тогда он был коренастым, крепеньким пацаненком, а сейчас – тонкий и гибкий, как смычок от его скрипки. Вытянулся, а в плечах не раздался. И лицо худое. Выгоревшие космы торчат разлет.

Но улыбается Алька знакомо-знакомо.

– Здравсте!.. Мама велела сказать, что, если сейчас же не придете, ужинать не даст. И бутылку «Кальвадоса», которую припасла, тоже не даст.

– Жуткая угроза, – говорю я. – Привет, Алька... Значит, этот обормот Роська все же проболтался...

– Трепло, – сокрушенно подводит итог папа Вихрев.

Но Алька бесстрашно признается:

– Это я проболтался. Роська мне, а я маме... Потому что вас нет и нет...

Он с хохотом увертывается от папашиного подзатыльника, подходит ко мне с безопасной стороны и берет за руку. Твердыми, намозоленными ладошками юнги.

Мы топаем вверх по хрустящей каменистой дороге. Алька слегка хромает, из-под зубчатой штанины у него выглядывает бинт.

Дома у Вихревых меня ждут бурные приветствия и тут же головомойка. Потому что «такое свинство и нарочно не придумаешь». Приехать и сразу бежать на это ржавое корыто! Даже на минуту не заглянуть в дом! Пускай не для того, чтобы поздороваться с хозяйкой (на такое джентльменство не способны даже обычные нынешние мужчины, не говоря уж о парусных фанатиках), а хотя бы затем, чтобы поинтересоваться, как у ненаглядного дружка (кивок в сторону лохматого Альки) идут дела в школе! И в обычной, и в музыкальной. Может

быть, дорогому гостю любопытно будет узнать, что это чадо, проучившись в пятом классе всего две недели, успело...

– Ябедничать нехорошо, – подает голос Алька и укрывается за книжным стеллажом, стоящим поперек комнаты.

– Ах, нехорошо... – произносит нараспев Людмила Васильевна, и ее очки загораются проблесками красного маяка. – Тогда иди и Расскажи дяде Славе сам, как ты...

Там-м!! – раздается за стенкой железный удар и звон. У Роськи и Альки отношения довольно сложные, но в трудные минуты братья приходят друг другу на выручку. И сейчас Роська отвлекает «огонь на себя»: роняет не то поднос, не то крышку от кастрюли.

– О, погибель моя! – Мама Вихрева летит на кухню.

Потом в уютной кухне мы ужинаем и пьем чай. Олег рассказывает о недавнем шторме, когда «полетел» стаксель, а я о плаваниях нашей ребячьей флотилии по Верх-Исетскому озеру. У нас на уральских озерах морские волны не бушуют, но когда засвистит крепкий ветер, приключений тоже хватает. И разговор наш с Олегом затягивается.

– Штаги, оверштаги, ванты, курсы, галсы, – говорит Люда. – Как вы мне надоели!.. Роська, марш спать, носом в стакане булькаешь...

Роська неожиданно слушается, но требует, чтобы я рассказал ему на сон грядущий «приключенческую интересину». Я иду в «кубрик», где у Роськи и Альки двухъярусная корабельная койка, сколоченная отцом. Присев на край нижней постели, я придумываю историю про корабельного гнома-пенсионера. У меня и в мыслях нет, что через два года я напишу про этого гнома повесть...

Наконец я прощаюсь. Алька заявляет, что пойдет меня провожать. Люда пугается. Я шепотом ее успокаиваю: говорю, что мы погуляем, а потом я в свою очередь провожу Альку до дома, ничего с ним не случится. Люда разъясняет, что боится не «случаев». Просто она уверена, что Алька проспит завтра школу. А главное, она убеждена, что он мне уже надоел до чертиков.

Но ни Алька мне, ни я ему не надоели. Мы даже и поговорить-то не успели как следует. И теперь мы отправляемся провожать друг друга. По Шестой Бастионной.

Я говорю:

– Давай попетляем.

Алька соглашается. Мы углубляемся в переулки Артиллерийской слободки. Длинно и рассыпчато звенят цикады В окошках уютный желтый полусвет или синеватое мерцание телевизоров. Издалека, со стадиона «Авангард», долетает шум болельщиков, приглушенный и ровный, – видимо, там севастопольская команда заканчивает удачный матч с гостями. А здесь тихо. Только шастают в траве у каменистых изгородей кошки да изредка промчится стайка смеющихся ребятишек: наверно, играют в разведчиков. На маленькой площади – оранжевый костерчик. Похоже, что здесь у мальчишек нынче главный штаб.

Потом опять узкий переулок: ракушечные ступени, каменные стены у плеч, вверху – несколько ярких звезд. Мы шепотом переговариваемся. Алька не лишен воображения и соглашается, что здесь подходящее место для всяких приключений и сказок. Но скоро Алька наносит крепкий удар по моему поэтическому настроению. Я спрашиваю, как называется похожее на пальму растение, которое раскидало у забора перистые листья, и Алька пренебрежительно отвечает:

– А, это вонючка.

Я озадаченно кашляю, потом возражаю, что это название, во-первых, не научное, а во-вторых, обидное для такого красивого куста.

Алька заявляет, что научного названия не знает, а «вонючкой» эти кусты названы за дело.

– Вы потрите листок между пальцами и понюхайте.

Я так и делаю. Да, запах не очень приятный. Но и не такой уж противный. Скорее просто странный. Я это говорю Альке, он пожимает плечами. Но скоро выясняется, что у Альки с этим растением личные счеты. Именно с «вонючки», разросшейся в большое дерево, слетел Алька два года назад – в тот раз, когда оторвал себе ухо. (Кстати, эта история имела печальное продолжение: когда уже была снята повязка и Алька с приятелями прыгал по гаражам, играл в десантников, его ухватил за ухо местный пенсионер, один из тех, кто считают себя прирожденными воспитателями юношества. Ухо пришивали вторично.)

Должен заметить, что здешние мальчишки вообще лихой народ. Это особенно заметно, когда в какой-нибудь школе кончаются уроки и веселая толпа выхлестывается из дверей. Бинты на локтях и коленках мелькают, будто кто-то мелко разорвал чистую тетрадку и пустил по ветру клочки. Иногда среди этого мелькания неторопливо проплывает гипсовый лубок...

Но Алька даже на фоне здешних боевых компаний может считаться чемпионом по синякам и травмам. В позапрошлом году – ухо, в прошлом (когда я опять приехал в сентябре) – рубец на лбу и вывихнутый мизинец на ноге, сейчас Алька тоже «раненый». Правда, на сей раз дело было самое обычное – ободрал колено о школьное крыльцо. Промыть бы да замотать – и никаких проблем. Но Алька, чтобы не расстраивать пришедшую на обед маму, торопливо натянул на открытую ссадину пыльные, старые джинсы. И конечно, засорил ее. Обнаружилось все вчера вечером. Расстройство и нахлобучка получились двойные: во-первых, из-за распухшего колена, во-вторых, из-за того, что Алька в этих жеваных и залатанных штанах, оказывается, ходил в музыкальную школу. В храм искусства!

Сейчас Алька слегка хромает, поэтому шагаем мы неторопливо. И разговор наш неторопливый и спокойный.

Но, когда разговор этот касается «храма искусства», Алька мрачнеет:

– Неохота мне туда ходить...

– Ты же любишь музыку!

– Ну и что? Я и читать люблю. Значит, мне и книжки самому надо писать, да?

Аргумент неожиданный и потому неотразимый. Я решаю больше не касаться музыкальной темы.

Но когда мы опять выходим на Шестую Бастионную, я вспоминаю:

– К слову сказать, Шестой бастион, который был здесь в Первую оборону, называли музыкальным.

– Почему? – досадливо изумляется Алька.

– Там среди защитников было много любителей музыки. В одном из офицерских блиндажей даже стояло фортепьяно.

– И его не раздолбали ядрами?

– По-моему, нет. Видишь ли, этот бастион был самый крепкий в линии обороны...

Алька оживляется. Оборона, крепости, штурмы – это разговор интересный.

Шестая Бастионная идет почти точно по старой оборонительной линии – между Седьмым и Пятым бастионами. Я рассказываю Альке про укрепления, которые стояли здесь в середине прошлого столетия: батареи Шемякина и Бутакова, люнет Белкина, Ростиславский редут. И про людей, которые здесь воевали...

– А откуда вы все это знаете?

Я объясняю, что многое знаю еще с детства, из книжек. Кое-что мне рассказывал мой отчим.

Это был человек, немало хлебнувший в жизни, с характером тяжелым и неровным, но когда он говорил о временах Нахимова, то делался совсем другим. Однажды, кажется, в третьем классе, я заболел, и отчим, присев рядом со мной, начал пересказывать «Сева-

стопольские рассказы» Льва Толстого. Почти наизусть. Как-то удивительно тепло, по-доброму. Эти рассказы да еще «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского были его любимыми книгами.

Тогда же, посмеиваясь, отчим поведал мне, как из-за любви к севастопольской истории получил в гимназии переэкзаменовку. Учитель – старорежимный сухарь – наставил ему двоек, а в последний день учебного года вызвал, чтобы дать возможность снасти положение.

– Спросил не о чем-нибудь, а о Севастопольской обороне! Представляешь? Я подумал; вот счастье-то! И давай расписывать все в деталях: позиции, имена командиров, названия кораблей, Инкерманское сражение, Балаклавское сражение... Несет меня на волнах вдохновения, а он не перебивает. И вдруг звонок! И слышу я такие слова: «Вы не закончили ответ, я не могу поставить вам оценку. Придете осенью». Вот так...

Отчима уже давно нет на свете. Оставшуюся от него книгу «Севастопольская страда» я берег долгие годы, а когда она потерялась, купил другую – в таком же издании...

И сейчас я по-прежнему люблю читать все о Первой обороне Севастополя. Конечно, я не считаю себя знатоком того времени, просто мне нравится делать в ту эпоху «глубокие рейды».

Один из таких «рейдов» я совершил два года назад, когда Алька показал мне Шестую Бастионную. Уж раз моя судьба пересеклась с этой улицей, мне захотелось подробнее узнать, чем был знаменит Шестой бастион. В истории Крымской кампании он не так известен, как, скажем, соседний Пятый или центральные – Четвертый, Третий, Корниловский... Я помнил только, что именно с Шестого бастиона в день Инкерманского сражения Минский полк атаковал французские укрепления между Карантинной бухтой и кладбищем. Командовал вылазкой артиллерийский генерал Тимофеев. Это было славное дело: минцы сквозь огонь французских штуцеров прорвались на неприятельские батареи и заклепали большущие осадные гаубицы. Потом полк отошел к батарее Шемякина, и та встретила огнем французскую бригаду генерала Лурмеля, которая попыталась преследовать русских. Многие французы, в том числе и сам генерал, были сражены картечью насмерть, остатки бригады в расстройстве отступили...

Чтобы узнать о Шестом бастионе подробнее, я опять «закопался» в старые карты и схемы, в воспоминания ветеранов из трехтомного «Севастопольского сборника», который вышел в свет больше ста лет назад, и в другие старинные книги – в те, что были у меня раньше, и в те, что сумел разыскать вновь, обходя московские букинистические магазины. Из двухтомной «Обороны Севастополя» Тотлебена, из «Восточной войны» Богдановича, из старого романа забытого писателя Лавинцева «Под щитом Севастополя» я узнал, что Шестой бастион был самым сильным сухопутным укреплением, когда высадились на здешнем берегу французы и англичане. Другие бастионы еще только строились или были едва намечены, а Шестой, хотя и тоже не законченный, представлял собой крепость с облицованными камнем насыпями и рвом, с оборонительными башнями. С тыла его замыкала каменная казарма. На поворотных платформах наготове стояли пятнадцать крепостных орудий. Прочность бастиона, видимо, и была причиной того, что интервенты ни разу не пытались его штурмовать.

Оборонительная линия, которая в Крымскую кампанию защищала от врагов Севастополь, на картах похожа на шипастую подкову. Концы «подковы» примыкают к берегу большой Северной бухты. А шипы – это бастионы. Линия была разбита на несколько дистанций. Шестой бастион стоял в центре первой дистанции, на правом фланге обороны.

Весной и летом 1855 года артиллерией первой дистанции командовал капитан-лейтенант Стеценко. Он сменил на этой должности убитых и раненых товарищей – тоже флотских офицеров.

До начала Севастопольской обороны Стеценко служил на флагманском корабле адмирала Корнилова «Великий князь Константин» и в то же время заведовал флотскими юнкерами. В первые дни боев юнкера вместе со взрослыми моряками ушли на бастионы, и это доставило Стеценко массу хлопот. Пятого октября, когда началась первая бомбардировка Севастополя, Стеценко среди свиста ядер, дыма и грохота разрывов метался по бастионам, разыскивая начальство, которое отдало бы приказ убрать юнкеров с передовых укреплений. Как всякий нормальный человек, Стеценко понимал, что война – не детское дело, а среди его воспитанников были совсем мальчишки... Начальства он не нашел и ребят из-под огня убрал своей властью. Позже он встретил Корнилова и доложил о своих действиях; адмирал распоряжения Стеценко вполне одобрил и приказал отправить юнкеров в Николаев.

Тогда Стеценко еще не знал, что оборона продлится почти год и что, несмотря на все разумные распоряжения, много севастопольских мальчишек сложат головы вместе со взрослыми защитниками... А Корнилов этого не узнал никогда: в тот же день вражеское ядро смертельно ранило его на Малаховом кургане...

Стеценко – человек невидной наружности, спокойной отваги и большого опыта – был истинно черноморским офицером, влюбленным в Севастополь и в свои корабли. Кстати, именно по нему и по сопровождавшим его казакам были сделаны первые выстрелы той давней Крымской войны. Во главе группы разведчиков, на виду у противника и вблизи от него, Стеценко наблюдал за высадкой вражеского десанта недалеко от Евпатории. И хладнокровно рассылал с казаками донесения начальству в Евпаторию и Севастополь.

Главкомандующий Меншиков сделал опытного офицера своим адъютантом, и в этой должности Стеценко оставался до отставки князя, а потом перешел на бастионы.

В своих воспоминаниях Стеценко замечает, что большая часть первой дистанции была наименее опасным участком в обороне города. Видимо, это в самом деле так. Только безопасность здесь была очень относительная.

Осколки, ядра и штыцеры пули косили матросов, солдат и офицеров ежедневно. У Стеценко есть такие строчки: «За мое трехмесячное пребывание на бастионах многие командиры были убиты или ранены, некоторые выбыли по болезни, некоторые, возвратясь на свои места с худо зажившими ранами, почти все переконтужены или оглушены, и, сколько я помню, только один Белкин на своем опасном месте с начала до конца осады вышел невредим».

Разумеется, и сам Стеценко каждый день был на волосок от смерти, но об этом не вспоминает. Однажды на Ростиславском редуте рядом с ним свистнуло ядро, подбило ближнее орудие и ранило комендора. Стеценко описывает этот случай лишь для того, чтобы лишний раз показать спокойную храбрость и умение черноморских матросов: «Ходивший постоянно за мной ординарец бросился немедленно распоряжаться за комендора, и вместо подбитого новое орудие было поставлено и открыло огонь также быстро, как на самом взыскательном смотре; подобных примеров было множество».

Стеценко отличался смелостью не только под огнем врага, но и в отношениях с начальством. Не так-то легко было спорить с генералами, но он решился на это, когда командование разработало план устроить передовые укрепления на кладбищенской высоте, впереди Шестого бастиона. Он доказывал, что удержать слабо укрепленные позиции, которые выдвинуты далеко вперед и оторваны от основной линии, не удастся. Доводы капитан-лейтенанта не убедили старших командиров. Четыре тысячи наших солдат погибли во время безуспешных попыток закрепиться на старом севастопольском кладбище. Уцелевшие вернулись на батарею первой дистанции, на Шестой бастион.

Траншеи англичан и французов неумолимо приближались к нашим позициям. Люди гибли и гибли. Орудия выходили из строя. А те, что оставались, требовали пороха и снарядов. Особенно прожорливы были глотки тяжелых бомбических пушек. Стеценко писал,

что для батареи его дистанции тяжелые 68-фунтовые снаряды совсем перестали отпускать. Вместо них приходилось использовать пудовые гранаты, а под них подкладывать деревянные поддоны нужного калибра...

Все это я рассказываю Альке, пока мы бредем мимо неярких окошек Артиллерийской слободки, под цвирканье цикад и вечерние шорохи. Рассказываю о Стеценко не потому, что он какой-то особый герой, а потому, что совсем недавно прочитал его «Воспоминания и рассуждения» о Крымской кампании. Те, что Стеценко написал уже после, когда стал контр-адмиралом...

Алька слушает с интересом. Иногда переспрашивает. Требуется разъяснения:

– Что такое поддоны?

– Это деревянные пыжи. Сперва в пушку "клали пороховой заряд, на него такой пыж – по калибру ствола, а потом уж ядро или бомбу. Пудовые гранаты из больших пушек без этого и не полетели бы: они же были почти вдвое меньше, чем полагалось для таких орудий...

– Все равно большие... Целый пуд... И как их бросали, такие тяжеленные?

– Это же не ручные гранаты. Так назывались разрывные снаряды...

– А у меня ручная есть. Только не старинная, а лимонка.

Я задерживаю шаг.

– Да пустая, – снисходительно говорит Алька. – Одна оболочка. Знаете, такая вся из квадратиков...

– Знаю, – сумрачно говорю я. Но Алька моей сумрачности не замечает. «Оружейная» тема подтолкнула его к воспоминаниям. Он рассказывает, что недалеко от яхт-клуба, на маленьком пляжике, волны вымыли из песка ящик с артиллерийским порохом. Конечно, тоже не старинным, а, наверно, от последней войны. Порох в пакетах разный – «лапша» и «семидырки». В воде он раскис, но, когда высыхает, очень хорошо – с шипеньем и треском – горит в костре.

Тут я совсем останавливаюсь.

– Алька...

Алька, неторопливо объясняет, что это случилось не сейчас, а давным-давно, когда он был «совсем дурак, во втором классе». А теперь того ящика и в помине нет и самого пляжика нет, а главное, Алька и его приятели поумнели и прекрасно знают, что это – не игрушки.

Я верю Альке. Но полного покоя уже нет. Я вспоминаю, как год назад видел на Шестой Бастионной короткую, почти незаметную сценку: горит, в газоне у тротуара игрушечный костерчик, сидят у него на корточках двое мальчишек лет девяти и смущенно, потерянно как-то смотрят в спину, пожилому седоусому мичману. А мичман идет от них ровным шагом и несет перед собой ржавую керосиновую лампу.

– Это я так подумал: лампа.

Помню, что такая лампа – плоская, круглая, с головой для стекла – была во время войны у наших соседей Шалимовых в Тюмени. Лешка Шалимов говорил, что она похожа на противопехотную мину...

А может, ничего не случилось? Может, правда лампа или другая безобидная железяка, нужная мичману для хозяйства? А мальчишки были не такие уж насупленные?

Может быть, на этот раз и так... И все же до скольких мальчишек война дотянулась своей ржавой лапой через долгие мирные годы. Дотянулась и вырвала из жизни...

Прошуршал зябкий ветерок, и разом замолчали цикады. Я подумал, что завтра, наверно, будет дождь.

– Пойдем домой, Алька...

Назавтра дождя не было, и мы опять гуляли вечером с Алькой. Вышли на высокий берег между Хрустальным мысом и яхт-клубом. Было тепло и безветренно, закат уже почти догорел, в море мигали огоньки. На Константиновском мысу, над старинным фортом тоже мигал красный огонь маяка. Его отражение вспыхивало в воде рубиновой стрункой.

– Ты там бывал? – спросил я Альку, показав на форт.

– Не, – вздохнул он. – Там же моряки хозяйничают, они всяких любопытных не любят.

– Может, и не любят, но иногда пускают. Если очень попросить... Хочешь туда завтра со мной?

– Ой-й, – сказал Алька. – Правда?.. Ой, а если мама не пустит? Она и так недовольна, что я много хожу. Говорит: «Ты хромой, тебе вредно...»

– Я проведу беседу... А ты старайся не хромать.

Назавтра Алька постарался не хромать и даже размотал бинт, уверяя, что все прошло. Кроме того, он ухитрился получить пятерку на уроке сольфеджио. Это настолько ошарашило его маму, что она и не подумала возражать против поездки.

Экскурсию эту устроили для меня работники Центральной детской библиотеки Севастополя. И сами тоже поехали. Маленький библиотечный автобус обвез нас вокруг Северной бухты, через Инкерман, и доставил к Константиновскому равелину.

Строгие знатоки фортификации постоянно напоминают, что называть этот форт равелином неправильно. Однако севастопольцы называют, и я буду поступать так же. У придирчивых читателей заранее прошу прощения. Еще в детстве я читал очерк Леонида Соболева «В старом равелине» о том, как семьдесят четыре краснофлотца с капитаном третьего ранга Евсеевым и батальонным комиссаром Кулиничем удерживали эту старинную крепость. У них была важнейшая задача: обеспечить выход всех наших судов из Северной бухты, не дать немцам прорваться к берегу.

Очерк был написан в сорок втором году, почти сразу после окончания героической обороны Севастополя в Великой Отечественной войне. Соболев не знал тогда многих подробностей, многих имен. Он даже неточно назвал фамилию командира – Евсеев вместо Евсеев. Но в самом главном Соболев был, конечно, абсолютно точен – в описании человеческого мужества. И когда я читал простые и твердые, как осколки крепостных стен, слова, у меня, у мальчишки, перехватывало горло. Так же, как в те часы, когда я смотрел кино «Малахов курган». И даже сейчас мне кажется, что писатель Соболев – этот мужественный человек, отдавший всю свою жизнь флоту и литературе, – стискивал зубы, когда писал о защитниках равелина...

Краснофлотцы и командиры сделали все, что должны были сделать. Четыре дня – до назначенного приказом срока – отбивали фашистскую пехоту и танки. Потом те, кто уцелел, вплавь переправились на Южную сторону, в район Херсонеса. Мертвые навсегда остались в равелине. Они слились с кремнистой землей, с обугленными камнями форта, с морем. В полукруглом дворе равелина, среди высоких пирамидальных тополей, им поставлен памятник...

...Во дворе, замкнутом каменной подковой укрепления, был отчетливо слышен каждый шум каждый шаг по каменной крошке. И каждое слово отдавались в вогнутых стенах. Про последнюю оборону рассказывал капитан второго ранга, который встретил нас у входа в равелин. Он интересно рассказывал. Может быть, слегка заученно (видно было, что не первый раз ведет экскурсию), но все равно интересно. Небольшая наша группа окружила капитана кольцом. Ребятишек – детей, приехавших с библиотекарями, и Альку – пропустили вперед. Ребята слушали, задрав подбородки и округлив рты. Когда капитан сказал, что уцелевшие защитники равелина почти все благополучно добрались до своих, Алька шумно и облегченно вздохнул.

Потом наш хозяин стал говорить о давней истории форта, о прошлом веке. Здесь рассказ получился чуть сбивчивее, а кое-что капитан даже напутал. Я это не в упрек ему замечаю, ни в коем случае! В деталях путаются и маститые историки, и даже автор знаменитой «Обороны Севастополя» генерал-адъютант Тотлебен. Просто я объясняю, почему отвлекся от рассказа и стал смотреть по сторонам.

Был уже вечер, неожиданно зябкий и ветреный. По стенам, балкончикам и галереям крались сумерки. Ветер, плотный и ровный, шел с моря. Сюда, в каменный двор, он не залетал, но монотонно шумел над равелином и сгибал в одну сторону острые верхушки тополей. Над тополями в синевато-сером небе быстро двигались подкрашенные заходящим солнцем небольшие облака. Покачиваясь из стороны в сторону, реяли несколько чаек.

Хотя внизу ветра не было, неприятные сквознячки все же ползали над камнями. Алька поеживался. Он был в легонькой пионерской форме, в той, что прибежал из школы днем. Я накинул на него свой пиджак. Алька улыбнулся, но продолжал зябко перебирать ногами.

– Мерзнешь? – прошептал я.

– Да не... – тихонько отозвался Алька.

Капитан повел нас вдоль внешней стороны форта по узкой полоске суши. Два яруса широких амбразур сумрачно темнели в сложенных из каменных глыб стенах. Кое-где края амбразур казались обглоданными. Серовато-желтый камень там и тут был изрыт ударами снарядов и осколков. У берега плескалась небольшая зыбь: начавшийся недавно ветер не успел раскачать волну. Когда волны вырастут, пена примется хлестать по обветренным и обожженным войной стенам равелина...

Впрочем, не везде стены были такими. Кое-где мы увидели плиты ярко-белого инкерманского камня.

– Зачем это? – спросил я капитана.

Он разъяснил, что начинается ремонт и скоро весь форт покроют новенькой облицовкой. А в амбразурах доставят, как прежде, старинные пушки. Правда, это будут бетонные макеты, но издалика совсем как настоящие.

– Зачем? – это спросили уже и я, и Алька, и еще несколько человек. Даже очень скромный шестиклассник Алеша, который до сей поры не сказал ни слова, только смущенно мигал и улыбался.

В самом деле, зачем? Разве пережившей две страшные осады крепости нужна декоративная подмалевка? Разве следы от снарядов портят вид цитадели? И какой смысл закрывать крепчайший крымский известняк (его, говорят, теперь уже и не осталось в разработках) нынешним мягким строительным камнем? Для красоты? Но это все равно что старый, поставленный на вечный якорь броненосец стали бы покрывать белой кафельной плиткой.

Моряк пожимал плечами. Он был согласен с нами, но говорил, что ничего не поделаешь: деньги отпущены, планы составлены, работы начаты. И скоро Константиновский форт примет «обновленный» облик.

Так оно и вышло. Сейчас равелин уже не тот. Он стал аккуратнее, сменил свой древний песочный цвет на белый, исчезли следы развалин. Торчащие из амбразур орудия, может быть, и придают ему вид настоящей крепости, но это всего-навсего вид. Он производит впечатление лишь на приезжих экскурсантов. А один мой знакомый журналист, коренной севастополец, сказал, глядя на белые гладкие стены:

– Больничный корпус какой-то...

Но это было позже, года через два. А в тот раз мы шли вдоль еще настоящих стен Константиновского равелина и я трогал его настоящий камень – шероховатый и почему-то очень теплый.

Когда проходили мимо тыльной части форта, где еще сохранились развалины, Алька отстал (это деликатно не заметили). Скоро он бегом (и все еще прихрамывая) догнал нас. Мой пиджак летел за ним, словно казачья бурка.

Под конец экскурсии капитан предложил прогуляться по стене волнолома, которая тянулась от форта поперек бухты. Дамбу эту только что закончили строить. Она должна была защищать внутренний рейд от сильных волн, когда их гнали с открытого моря штормовые западные ветры.

По верху дамбы шла выложенная плитами дорога. Обращенная к морю сторона щети-нилась бетонными ежами. В них все сильнее плескалось море. Поверхность воды была перламутрово-стальная. На горизонте лежало сизое облако, и темное большое солнце быстро погружалось в него.

Мы дошли до конца мола. Там, двигая заградительные боны, пыхтел буксир под флагом "вспомогательного флота. На нем уютно светились иллюминаторы. Мы двинулись обратно. Алька опять захромал, и мы с ним отстали. Он виновато глянул на меня, сказал «я сейчас» и заковылял вниз, хватаясь за бетонные зубья.

— Да что с тобой, живот, что ли, болит? — обеспокоенно спросил я. Подождал Альку с полминуты, потом глянул вниз.

Алька занимался не тем, чем я думал. Отворачиваясь брызг, он окунал в море руку. Повернулся ко мне и показал раскрытую ладонь. На ней лежал камешек разом с грецкий орех,

— Я его намочил, чтобы морем пропитался, — сипловатым полусшепотом сказал Алька. И стал карабкаться ко мне. Я помог ему и спросил:

— Зачем тебе камень?

— Я его там, среди обломков, подобрал.

— Значит, на память?

— Ага. Я подумал, что скоро таких настоящих-то не найдешь. Стены замуруют, а осколки выметут.

«Да, он прав», — подумал я и пожалел, что не догадался тоже подобрать камешек.

— А в море зачем магал?

— Но у вас же дома нету моря,

— Значит, ты это мне?

— Ага... Надо?

— Еще бы!

Я зажал камешек в левой руке, а правой взял Альку за мокрые пальцы, и мы пошли к берегу.

Было еще довольно светло, но форт казался темным. На его вышке вдруг часто замигала белая звезда прожектора.

— Как броненосец, — вдруг сказал Алька. В самом деле, приземистое здание с двумя рядами амбразур, с маячной башенкой и корабельной мачтой было похоже на выдвинувшийся от берега в море старинный броненосный корабль.

...По сути дела, севастопольские форты и были береговыми броненосцами, призванными защищать город с моря. Эту задачу они всегда выполняли гордо и до конца.

К началу первой осады, в 1854 году Севастополь оказался почти незащищенным с суши, но его береговая оборона была сильна. Вход в Северную бухту охраняли два форта — Константиновский и Александровский. За ними стояли по берегам бухты еще несколько каменных батарей (Михайловский рavelин сохранился до сих пор).

Свою готовность к бою морские крепости Севастополя показали 5 октября, когда французы, англичане и турки начали первую отчаянную бомбардировку города. Наши наспех

воздвигнутые батареи вели кровавую дуэль с сухопутными батареями врага, а к фортам придвинулся могучий иностранный флот. Корабли и крепости окутались дымом.

Результатом боя было то, что вражеские суда больше ни разу не отважились приблизиться к нашим береговым крепостям.

В прошлом веке в Британии жил-был контр-адмирал Коломб. Он написал известную в то время научную книгу «Морская война». В 1894 году она вышла в России. Тогдашний наследник престола Георгий Александрович, который ведал военным флотом, всячески рекомендовал ее для изучения морским офицерам, а один экземпляр с собственноручной надписью даже преподнес выпускникам-гардемарином Морского корпуса. Неведомыми путями эта книга через много лет попала в московский магазин «Книжная находка», а оттуда перекочевала в мою библиотеку. Меня, разумеется, привлек не автограф монаршего наследника, а описания морских баталий и осад береговых крепостей. Тем более что пишет Коломб и о Севастополе.

Впрочем, тот день 5 октября (17-го по новому стилю) этот британский флотоводец вспоминает неохотно и высказывается туманно:

«Нет необходимости сделать больше, как отметить тот факт, что наши суда в Черном море, – главным образом парусные линейные корабли, – действовали против могучих русских фортов в Севастополе 17 октября 1854 года, как довершение в помощь бомбардированию с суши и одновременно с ним. Это была превосходная выставка, или зрелище доблести, но русские форты были не алжирские и не египетские; и затем к ним нельзя было подойти ближе 750 ярдов со стороны, избранной английским флагманским кораблем, так что результаты в пользу этого особенного метода атаки были на этот раз не более ободрительны, чем до тех пор».

«До тех пор» автор описывал бомбардирование нашей крепости Свеаборг на Балтике, хотя оно произошло позже севастопольского. Этот бой тоже не принес славы флоту ее величества.

Автор «Морской войны» не совсем точен в своих описаниях. Английские корабли подходили к нашим батареям и ближе 750 ярдов (ярд – чуть меньше метра). Например, так поступил их пятидесятипушечный корабль «Аретуза», который вел перестрелку с батареей Карташевского (недалеко от Константиновского форта). Впрочем, это и привело к тому, что после боя он отправился на ремонт в Константинополь.

Что касается «выставки или зрелища доблести», то, очевидно, контр-адмирал Коломб имеет в виду такой эпизод. Четыре английских военных корабля – «Родней», «Агамемнон», «Сан-Парейль» и «Лондон» – втерлись в сектор к северо-западу от Константиновской батареи, который почти не накрывался выстрелами русских орудий. Там эти корабли с дистанции в 450 сажен громили верхнюю открытую площадку форта из ста пятидесяти девяти пушек. Форт мог отвечать лишь из двух орудий...

Константиновская батарея пострадала в тот день больше всех береговых укреплений. Из четырехсот семидесяти человек там оказалось пятьдесят контуженых и раненых, шестеро были убиты. Верхняя площадка была разрушена, двадцать два орудия из двадцати семи, стоявших на ней, разбиты. Но большая часть пушек стояла в казематах, и там ни одна не пострадала. Форт продолжал громить врага. Вступившие с ним в бой корабли были изрядно потрепаны. На «Лондоне», «Кине» и «Агамемноне» полыхали пожары...

Нет, не принес успеха союзной эскадре англичан, французов и турок бой с русскими фортами, хотя с кораблей действовало в восемь раз больше орудий, чем с наших береговых батарей. Вражеские суда загорались. Теряли рангоут. Получали десятки пробоин. Французский адмиральский корабль был продырявлен пятьдесят раз, причем трижды в подводной части. Бомба снесла у него кормовую палубу, ранены были многие офицеры из штаба адми-

рала Гамелена, корабль горел. Британский «Альбион» получил девяносто три пробоины, у него были сбиты мачты.

В тот полный орудийного грохота и смертей день русские береговые батареи потеряли ранеными и убитыми сто тридцать восемь человек, эскадра противника – пятьсот двадцать. Причем только англичан и французов. Потерь турок мы не знаем.

...В августе 1855 года, когда французам удалось захватить Малахов курган, защитники бастионов взорвали укрепления на Корабельной и Городской сторонах и по наплавному мосту в полном порядке отошли на северный берег бухты. Враг занял горящие развалины южной части Севастополя.

И что же?

Перед ними лежала водная полоса рейда, а на другом его берегу был все тот же Севастополь. Валы бастионов и несокрушимые каменные крепости. Чтобы взять эту часть города, нужно было форсировать бухту или обойти ее и снова начинать осаду – такую же, как на Южной стороне. Измотанная армия интервентов была совершенно неспособна к таким действиям. Это понимали обе воюющие стороны. Война перестала быть войной пушек и сделалась войной дипломатов, которые спорили об условиях мира.

На совести этих дипломатов – итог всей Крымской кампании. А Северная сторона с ее укреплениями осталась непобежденной частью Севастополя.

Обратно ехали в сумерках. В автобусе горела желтая лампочка. Все устало молчали, только мы с Алькой переговаривались вполголоса.

– Жаль, что в казематах не успели побывать, – вздохнул Алька. – Интересно, как там...

– Да ничего особенного, – утешил я. – Пушек там сейчас все равно нет.

– Ну и без пушек интересно.

Тогда я стал рассказывать Альке, что казематы – это просторные помещения с амбразурами в стене двухметровой толщины. Каждый каземат был разделен поперечной стенкой с проходом. В передней части стояло орудие, а в задней жили комендоры. Большинство пушек стреляло ядрами весом в двадцать четыре фунта, то есть примерно в десять килограммов. Деревянные парусники и пароходы тех времен легко загорались от каленых ядер. Чтобы раскалять ядра, в Константиновском форте, были устроены шесть специальных печей...

– А пианино?

– Что «пианино»? – изумился я.

– Там его не было? – хитровато спросил Алька. – Ну, как на Шестом бастионе?

– Н-не знаю... По-моему, нет.

– И ничего, жили люди, – сказал Алька.

Автобус довез нас до причала на Северной стороне, оттуда мы на катере переправились к Графской пристани, прямо в центр города. Здесь было тепло, и Алька отдал мне пиджак. Я перекинул его через локоть. В кулаке все еще держал Алькин камешек. Он уже высох, но когда лизнул его, оказалось, что на крошечном кусочке Константиновского равелина сохранилась морская соль. Алька заметил, что я коснулся камня губами и сказал чуть снисходительно:

– Он долго соленый будет... если часто не лизать.

– Часто не буду, – пообещал я.

Алька коротко улыбнулся, но вдруг спросил очень серьезно:

– А вы знаете песню «Севастопольский камень»?

– Еще бы. С детства помню...

– Я тоже. И папа. Он ее на трубе играет.

– Песню?

– Ну, это не совсем песня. Это целая такая пьеса музыкальная. Фантазия на темы песен о Севастополе. Хотите послушать?

– Хочу, конечно...

– Тогда пошли! Еще успеем!

– Куда?

– Папин оркестр сегодня на Приморском бульваре выступает. Тут, совсем рядышком... Слышите?

Я и в самом деле услышал в отдалении упругие голоса труб.

...Все скамейки перед эстрадой были заняты, нам пришлось встать у края площадки. Но так было даже удобнее – лучше видно.

Над головами у нас, в гуще деревьев, качались цветные лампочки, а белая раковина эстрады сияла ярким светом. И трубы сияли. И форменные пряжки, и якоря на фуражках и ленточках. Я впервые увидел Алькиного отца в морской форме – в рубашке с погонами главстаршины и фуражке с «крабом».

Оркестр играл долго – марши, вальсы и, кажется, что-то из «Кармен-сюиты». Я уже занервничал: вернемся поздно – влетит нам от Алькиной мамы. Но Алька мой осторожный шепот не слушал и прирос к месту.

Наконец объявили «Голоса Севастополя». Олег Вихрев поднялся и встал впереди оркестра.

Трубы сначала зазвучали глухо, медленно, и я узнал суровую мелодию «Севастопольского камня». Она была похожа на тяжелый накат усталых волн. Потому что печальная песня... Но Олег вскинул трубу, подхватил мелодию, как бы поднял ее, и она зазвучала по-иному – непобедимо и дерзко. А потом смешалась с другой музыкой, с мотивами иных песен – с «Легендарным Севастополем», «Севастопольским вальсом», с «Вечером на рейде»... Голоса этих песен переплетались, рождали новую музыку, в которой был и грохот прибоя, и звон корабельных колоколов, и блеск приморского праздника...

Затем как напоминание издали снова пришла песня о легендарном камне. И Олег Вихрев опять подхватил ее голосом своей трубы, заставил звучать тревожно и высоко, а потом перевел на новый мотив и закончил музыку ясной, слегка печальной мелодией, похожей на ту, что играют на палубах горнисты во время вечернего спуска флага.

Секунды три люди сидели тихо, словно еще ждали чего-то. Наконец захлопали – громче, громче. Я тоже. Алька хлопать не стал. Решил, наверно, что неловко: получится, будто хвастается отцом. Но лицо у него было счастливое. Когда шум утих, Алька спросил:

– Хорошо, да?

– Да...

– Я больше всего люблю, когда папа это играет.

– А сам не хочешь стать музыкантом, – не удержался я.

Алька сразу набычился:

– Потому что ему нравится играть, а мне нет. Я слушать люблю, а играю плохо.

– Вовсе не плохо...

– Ну, все равно. Мне не нравится.

– А что нравится?

Алька вроде бы не расслышал. Через полминуты он сказал:

– А мы с папой модель строим. Трехмачтовый фрегат. С алыми парусами.

...Теперь этот фрегат стоит в комнате Вихревых, на широкой застекленной полке, перед книгами. Замечательный корабль, как настоящий...

Алька так и не стал скрипачом. После восьми классов он поступил в училище, чтобы сделаться корабельным плотником. Огорченной маме он сказал, что это одна из самых древних профессий. И самых почетных. Между прочим, Петр Первый тоже был корабельный

плотник. Мама ответила, что Петр Первый был не только корабельным плотником, но и (между прочим!) императором России.

Алька заявил, что императором быть не согласен. Эта профессия нравится ему еще меньше, чем скрипач. Папа добавил, что если бы Петр Первый не был корабельным плотником, он не построил бы российский флот и не стал бы Петром Великим. Этим папа отвлек мамино внимание на себя. Мама повернулась к нему, чтобы изложить свою точку зрения на Петра, на историю российского флота, на профессию плотника и на него, на папу.

Но тут отвлек на себя внимание Роська. В кухне он уронил на пол алюминиевую кастрюлю, в которую мама сложила помытые ложки и вилки...

Стрела от детского арбалета

Шестая Бастионная начинается у площади Восставших. Здесь многие названия напоминают о мятежном крейсере «Очаков», поднявшем красный флаг в ноябре 1905 года. Недалеко улица Очаковцев, улица Шмидта, улица Частника. Рядом кладбище Коммунаров, где похоронены руководители восстания – Шмидт, Частник, Антоненко и Гладков.

...На кладбище безлюдно. Тихо-тихо, Желтоватое сентябрьское солнце нагрело цоколь памятника. Он из красноватого камня и сложен в виде пятиконечной звезды. На цоколе дремлет худой серый котенок. Он иногда вздрагивает и трогает лапой полусохшие цветы, которые лежат рядом. Их шевелит еле заметный ветерок.

Над цоколем серая скала с металлическим флагом и настоящим якорем – то, о чем просил перед смертью Шмидт. Есть, пожалуй, что-то трогательно-детское в том, как он описывал памятник, который поставят на его могиле севастопольские рабочие. Он был их пожизненным делегатом. Он требовал, чтобы тело его после казни было отдано рабочим и они сами похоронили его.

...Первый раз я прочитал о Петре Петровиче Шмидте еще в давнем детстве. Среди старых книг в шкафу Лешки Шалимова я наткнулся на тонкую книжечку Б. Звонарева "Лейтенант Шмидт". Она была издана в 1939 году в серии "Библиотека красноармейца". Потом я читал о Шмидте все, что мог найти. Найти удавалось не так уж много, но даже из скудных и часто сухих рассказов вырастал образ человека с удивительной душой. Если бы Шмидта не было на самом деле, если бы его придумал какой-нибудь писатель, автора обвинили бы в неправдоподобии. В стремлении создать образ героя без страха и упрека, уместный в старых романах и легендах, а не в реальности начала двадцатого века. Но Шмидт был.

В его ясной душе сочетались нежность и стальное мужество. Он боялся причинить людям зло и в то же время был абсолютно бесстрашен, готов пожертвовать для людей жизнью. В нем кипела неудержимая, доходящая до яростных вспышек ненависть к злым солдафонам в офицерских и адмиральских погонах, к царю, к жестокости, ко всему, что угнетало и оскорбляло Россию. А рядом с этой ненавистью – удивительная ласковость и любовь к товарищам, к морю, к детям...

Иногда он бал даже наивен. Но это – наивность человека с благородным, открытым сердцем.

Он с самого начала понимал, что неподготовленное восстание окончится разгромом. Но матросы видели в нем командира, они позвали его, и он без колебаний пошел с ними. Чтобы не оставить их одних. Чтобы стать щитом и многих снасти от смертного приговора. И сам пример его жизни и смерти стоит многих выигранных сражений...

Шмидт напрасно надеялся, что власти разрешат рабочим похоронить его. Царь боялся очаковцев и живых, и мертвых. Расстрелянных зарыли на месте казни, на острове Березань, и разровняли землю.

Только в мае семнадцатого года прах героев привезли в Севастополь. Здесь они были похоронены в склепе Покровского собора на Большой Морской. В двадцать третьем году их торжественно перенесли на кладбище Коммунаров, а в тридцать пятом встала над могилой скала с якорем и флагом...

На улице Частника, что проходит в квартале от Шестой Бастионной, я встречался с писателем Геннадием Черкашиным. В домике его бабушки. Это была удивительно добрая, ласковая старушка, одна из тех, кто хранил и хранит память о старине своего города.

Мы приходили в белый домик с зеленой калиткой, врезанной в каменный забор, с двориком, укрытым виноградными зарослями. Бабушка угощала нас инжиром, чебуреками с

вишней и домашним вином. Геннадий утверждал, что вино в точности такое же, какое делали в этих местах древние греки – жители Гераклеяского полуострова.

В прохладных, побеленных комнатках висели поблекшие фотопортреты усатых матросов – предков Геннадия. На ленточках бескозырок были различимы «яги» и твердые знаки...

Геннадий Черкашин пишет о Севастополе и Черноморском флоте. Есть у него книга и о Шмидте. Хорошая, большая книга. Черкашин много работал над ней и, конечно, знал о жизни Шмидта не в пример больше меня. Ему было что рассказать, а мне послушать. Но оказалось, что и у меня есть кое-что интересное для Геннадия. Например, история о материалах судебного дела Шмидта, которые хранятся в Вильнюсе.

Вильнюс – город, где прошло детство моего отца. Летом шестьдесят третьего года мы с отцом приехали в этот город. Вильнюс показался мне сказкой Андерсена. Путаница старинных улочек, зеленые откосы и мостики, крепостные башни, арки, флюгера. Готика и барокко соборов, которые поднимаются вокруг тебя прямо к зениту. Средневековые глобусы в полутемном читальном зале университета. Лавки с антикварными книгами. Смех ребятшек, играющих в узких вымощенных дворах среди плюща, каменных лесенок и галерей. Чешуя солнца на отполированной брусчатке мостовых.

Я влюбился в город «с первого взгляда», и отец был счастлив. Он повел меня на обширный пустырь за вокзалом, и мы остановились у плоского бугра. Бугор зарос высокой травой и колючками. Кое-где среди травы виднелась кирпичная кладка.

– Вот здесь был наш дом... То есть не наш, конечно... – отец тихо улыбнулся. – Мы с мамой снимали две комнатки...

Я молчал, взяв отца за локоть.

Свою бабушку, мать отца, я не знал. Она умерла задолго до моего рождения. Говорят, в молодости эта панна, из какого-то местечка под Варшавой была ослепительно красива. И чудовищно бедна. Она служила кассиршей в захудалом виленском магазинчике. Но, несмотря на бедность, гордости моей бабке было не занимать. Если верить семейным легендам, она утверждала, что род ее восходит к каким-то древним графам королевства польского. Возможно, из-за этой истинно шляхетской гордости она трудно уживалась с людьми. Подробностей ее жизни я уже никогда не узнаю, известно только, что она рано овдовела – и сына Петеньку, моего будущего отца, с малолетства воспитывала одна.

Мне рассказывали, что до старости бабушка оставалась человеком сурового нрава, с характером неприступным и капризным... Но для отца она была просто мама, которая по-русски, по-польски и по-литовски пела ему колыбельные песенки и мазала бальзамом своего изготовления царапины, когда восьмилетний Петенька с луком и стрелами являлся домой с «охоты» из ближних зарослей...

...Из зарослей вылетела и упала рядом с нами желтая оструганная стрела. С голубиным сизым пером и жестяным наконечником. Потом появились двое мальчишек лет десяти и девочка. Они шли к нам через бугор. Один из мальчиков тащил за собой через траву сделанный из досок самокат. Другой нес маленький арбалет с резиновой тетивой. Они остановились в трех шагах и нерешительно смотрели, как отец вертит в пальцах поднятую стрелу.

Мальчик с арбалетом – белоголовый, со светлыми царапинами на загорелых плечах и ногах, с репьями, прилипшими к майке, – сказал с легким прибалтийским акцентом:

– Извините, Мы не знали, что здесь кто-то ходит.

– Здесь никого не бывает, – строго заметила смуглая девочка.

А похожий на нее мальчик с самокатом – наверно, брат – так же строго спросил:

– Вы уже посмотрели? Можно взять?

Отец подал стрелу белоголовому мальчику с арбалетом.

– Спасибо, – тихо сказал мальчик.

Брат и сестра заулыбались, тоже сказали «спасибо» и вдвоем развернули тяжелый самокат. Вопрос для них был решен. Стрелок пошел за ними, но вдруг обернулся и спросил:

– А она в вас не попала? – Он качнул стрелой.

– Все в порядке. Мы целы и невредимы, – отозвался я.

– Хорошо, – сказал мальчик опять без улыбки.

И они ушли. Трава качалась, над ней летали пушистые семена.

– По-моему, ты в детстве был такой же белобрысый и серьезный, – заметил отец.

– Гм... – сказал я, имея в виду серьезность. Отец многого не знал, после войны мы жили порознь. У меня был отчим.

Мы обошли заросший фундамент. У каменного забора, спрятавшись в кустах, стояла маленькая почерневшая статуя не то святого, не то рыцаря в высоком шлеме и плаще.

– Рядом с ним я играл когда-то... – улыбнулся отец. – Таких памятников еще много в старых дворах, они все на учете. Но про этот, по-моему, не знают даже в Литовской академии наук.

– Что же ты не расскажешь им? Ты же часто там бываешь...

Отец не ответил, только опять улыбнулся. Я его, кажется, понял: не всегда хочется пускать в свое детство посторонних.

В середине дня отец повел меня в Академию наук показать кое-какие издания в отделе редких книг. Это была его ошибка, потому что на том и закончились наши прогулки по Вильнюсу. В библиотеке мне рассказали, что ее основателем был видный общественный деятель, юрист Фаддей Евстахиевич Врублевский. Один из тех, кто защищал на суде Шмидта.

Врублевский и Шмидт подружились в те трагические дни.

В архиве Врублевского осталось много бумаг, связанных с процессом. Сейчас они хранились здесь, в библиотеке.

Через пятнадцать минут я зарылся в письма, черновики и оттиски судебных речей, газетные вырезки, записки. Кое-что было написано рукой Шмидта.

Я увидел листок со строчками:

«Caesar morituri Te salutant!

Слова многоуважаемого защитника моего Ф. Е. Врублевского въ его защитительной речи по моему делу.

П. Шмидтъ 16 февраля 1906 г.»

Шмидт оставил эту записку на память Врублевскому, когда все шло к концу. Не помню, в какой связи использовал Врублевский древнее приветствие гладиаторов. Но у Шмидта оно звучало как прощание: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Он приветствовал так своего беззаветного и смелого защитника, потому что знал: усилия Врублевского и других адвокатов оказались бесполезными. А защищать себя сам он не собирался.

Назавтра ему предстояло сказать свое последнее слово.

И Шмидт сказал это слово. Речь его и сейчас читаешь с нервным холодком и с гордостью за человеческое мужество. Она потрясла всех: и слушателей в зале, и судей, и охрану. Есть много свидетельств, что, если бы Шмидт в тот момент захотел уйти на свободу, ни один конвойный не встал бы на пути и не сделал бы попытки выстрелить вслед. Да и в крепости охрана предлагала Шмидту бежать.

Он не ушел. Для этого пришлось бы оставить товарищей. Это дало бы повод врагам обвинить его в малодушии.

И что он стал бы делать потом? Скрываться? Или жить за границей, вдали от России, без которой он не мог? Это было не для него. Он был человек-факел, и судьба ему предназначила сгореть яростно, светло и открыто...

И все-таки, читая о Шмидте, я каждый раз жалел, что он не ушел. Я представлял, как он мог это сделать. Закончил говорить, медленно оглядел поникших судей, притихший зал, пожал плечами и пошел к двери. Локтем отодвинул растерянного конвойного офицера. И зашагал, постукивая каблуками по Каменным плиткам коридора, прямой, легкий, в черном своем плаще, застегнутом на груди медной пряжкой в виде львиных голов. К узкому, как щель, выходу, за которым светился солнечный день...

Но не было этого. И день в Очакове стоял сырой и промозглый...

Я читал, а отец томился рядом. Он-то надеялся еще походить со мной по Вильнюсу и показать массу интересных мест. По-моему, он даже обиделся. И наконец спросил:

– Неужели это для тебя так важно?

– Важно, – сказал я. – Очень... Ты уж поверь и не сердись.

Отец понял. И ушел раскапывать материалы для своей диссертации по славянским языкам...

Я просидел над бумагами до вечера.

Осенью того же года я написал не то очерк, не то рассказ «Тень Каравеллы». Там говорилось о Вильнюсе и Севастополе, о книгах про Шмидта и о маленькой каравелле, которую давным-давно, в сороковых годах, построил Володя Шалимов, старший брат моего соседа и приятеля Лешки. Каравелла называлась «Лейтенант Шмидт». Очерк напечатали в журнале «Урал» и даже похвалили. Я был счастлив. И тогда я еще не знал, что это лишь начало. Что я напишу потом повесть с таким же названием и что компания моих друзей-мальчишек на окраине Свердловска превратится в отряд «Каравелла», которым мне предстоит командовать больше двух десятков лет.

Но повесть была написана. Отряд вырастал, делался крепким. В поселке Уктус, у самого леса, недалеко от знаменитого свердловского трамплина, разносились хрипловатые сигналы горнистов и треск барабанов, выводя из себя владельцев местных огородов, угрюмых пенсионеров и всех, кто считает шумных и самостоятельных ребят помехой для своего устоявшегося куркульского бытия. Мы ходили в походы, пели песни на костровой площадке в ближнем лесу, устраивали фехтовальные турниры, снимали маленькой кинокамерой приключенческие фильмы. Шили паруса для будущих яхт. Наступил шестьдесят восьмой год.

В июле, когда я вернулся с ребятами из палаточного лагеря, пришло письмо из Минска, где жил отец. В письме сообщалось, что отец смертельно болен. Я вылетел в Белоруссию.

Отец сильно похудел, все время кашлял, часто лежал. С вежливой улыбкой выслушивал объяснения врача о затяжной пневмонии. Про незаконченную докторскую диссертацию он уже не говорил, часто вспоминал детство и Вильнюс. Меня он спросил:

– А как твоя книга о Шмидте? Ты ведь собирался писать.

Я сказал, что все равно не сумею написать так же хорошо, как Паустовский в повести «Черное море». Эту повесть я всегда возил с собой и дал отцу. Он полистал, обещал прочитать.

– А как твои ребята?

Я показал ему фотографии мальчишек с рюкзаками, отчаянных фехтовальщиков, устроивших бой на заросшей поляне, и горнистов, играющих сбор на вершине скалы.

– Ты не боишься? – спросил отец.

– Чего? Что свалятся?

– Нет, – сказал он. – Будущего. Ты, кажется, выбрал нестандартный образ жизни. А образ жизни выбирают навсегда. Или по крайней мере на долгие годы.

– Ну и... что? – осторожно спросил я. – Это плохо? – Спорить сейчас с отцом мне не хотелось.

– Нет... – улыбнулся он и закашлялся. – Но... трудно.

Я хотел напомнить отцу, что и сам он не был баловнем судьбы, но он все кашлял, кашлял. Ему принесли таблетки...

А через полчаса затрезвонил телефон. Длинно и тревожно. Я знал эти звонки: междугородная связь, И понял: меня...

Звонили ребята. Они не могли не звонить: отряд был в беде. Его просто-напросто громили. Местная «общественность» активизировалась. В «Каравеллу» являлась комиссия за комиссией. Ребятам вспоминали всё: колючие заметки в школьной стенгазете, «неуважительное» отношение к жильцам соседнего дома, сломанный (якобы ими, ребятами) стул в красном уголке домоуправления, громкие сигналы горна и споры с учителем труда в школе (который раздавал ученикам тычки и затрецины).

Оставшиеся за командиров семиклассники и восьмиклассники отбивались как могли. Они даже пошли к очень высокому начальству с вопросом: почему пионерский отряд преследуют, будто хулиганскую компанию? Бескомпромиссная ребячья логика подсказывала им предельно ясную мысль: справедливость за нами, значит, нас должны выслушать, понять и защитить. В принципе эта схема безупречна. Однако в жизни она требует поправок на многие конкретные условия и характеры. По молодости лет и недостатку житейского опыта ребята об этом не знали. Увы, сам факт, что «мелочь», пацанята в пионерских галстуках, задают взрослому начальству вопросы, был воспринят как величайшая крамола.

(Эти ребята сейчас – журналисты, врачи, офицеры, геологи. У них растут дети-школьники. Но мне лишь недавно перестали напоминать, как «эти ваши мушкетеры» своим визитом потревожили «высшие педагогические и административные сферы». Напоминания имели цель доказать, что ребят я воспитываю неправильно.)

Положение накалилось до предела. У четырнадцатилетних капитанов не было выхода. По междугородному телефону они дали «зов».

Поезжай, – сказал отец.

Я понимал, что едва ли еще увижу его живым. Он тоже это понимал. Мы обнялись. Щека у отца была теплая и немного колючая. На ней резко толкалась жилка.

– Я напишу, – выдохнул я.

– Хорошо, – серьезно сказал он с какой-то странно знакомой интонацией. И я вдруг вспомнил Вильнюс, траву на фундаменте разрушенного дома и упавшую к ногам стрелу. И мне показалось, что не я, а отец в детстве был очень похож на того белоглового мальчика с арбалетом...

Я улетел, но не домой, а в Москву. В Свердловске рассчитывать на помощь не приходилось.

В Москве была жара. Пыльные листья уныло висели над горячим асфальтом. Я пришел в редакцию «Пионера». Рассказал, в чем дело. В конце концов, «Каравелла» – корреспондентский отряд журнала. Пусть помогают. Тогдашний редактор «Пионера» Наталья Владимировна Ильина успокоила меня:

– Отряду мы, конечно, поможем. Я созвонюсь со школьным отделом «Правды», попрошу их вмешаться. Это будет вернее всего... Завтра после обеда всем этим и займемся.

– Почему же не с утра? – нетерпеливо спросил я.

– А вы утром не пойдете в Дом литераторов?

– Зачем?

– Разве вы не слышали? Умер Паустовский.

Утром я поехал на улицу Герцена, в Центральный Дом литераторов. Люди шли и шли к его распахнутым дверям.

Зал был полон и тих. Мне показалось, что это не просто похоронная тишина. В ней было какое-то печально-тревожное ожидание. Паустовский лежал ногами к залу. Гроб был

поставлен слегка наклонно. Казалось, Константин Георгиевич приподнялся, вслушиваясь в непрочную тишину.

Смерть разгладила морщины, и лицо Паустовского было молодым. Гораздо моложе, чем на снимке, который я как-то сделал с экрана телевизора. Эта фотография висела у меня над столом. Константин Георгиевич смотрел с нее насупленно и требовательно, надвинувшись на зрителя большим лбом с ломаными линиями морщин...

Я никогда не видел Паустовского при жизни. Конечно, хотелось увидеть. Несколько раз думал набраться смелости и поехать в Тарусу. Или хотя бы послать свои книги. Но останавливала трезвая мысль: сколько молодых литераторов, сколько влюбленных в его книги читателей мечтают о такой встрече, сколько авторов шлют свои книжки и рукописи. Ему, человеку, который всю жизнь так ценил уединение и покой – не ради покоя, а ради возможности много и без суеты работать. Писать, писать, писать, чтобы успеть как можно больше рассказать людям о земле и о море, о страданиях и благородстве, о мужестве и нелегком умении быть счастливым.

Я утешал себя, что короткая встреча все равно ничего не изменит в жизни. Паустовский и без нее сделал для меня все, что мог. Он сделал меня писателем.

В пятом классе я прочитал его «Далекие годы». Прочитал взахлеб. С благодарностью и с тоской, что у меня нет такого друга, как тот мальчишка, живший, в заросшем каштанами Киеве в начале нашего века. Мы бы поняли друг друга. Он, как и я, мечтал получить в подарок осколок окаменевшей ржавчины от старого якоря. Он так же, как и я, берег свои придуманные корабли от насмешек сытых, самоуверенных людей... Так же, как я, жил врозь с отцом...

С того дня я читал у Паустовского все, что мог разыскать в библиотеках и у знакомых...

Осенью пятьдесят шестого года мы, студенты-первокурсники, убрали картошку на раскисших от дождей полях под Красноуфимском. Сапог у меня не было. Брезентовые ботинки развалились. Я заходился кашлем. Бывший с нами заместитель декана отправил меня и одного моего сокурсника с поля дежурить в большой избе, которая служила нам общежитием. Мы вымыли полы, перетряхнули соломенные тюфяки, накололи дров и уселись у разгоревшейся печки. Было тихо, шуршал за окном мелкий дождь, трещала горящая береста. Однокурсник – человек с «жизненным опытом», из вечных студентов – дал мне для согрева что-то хлебнуть из фляжки. Потом стал читать свой рассказ. То ли под влиянием глотка, то ли потому, что рассказ был очень скверный, я придрался к одному пышному сравнению и ударился в критику. Мой коллега был оскорблен. Он прекратил чтение, обозвал меня сосунком и сказал, что я сам бездарь со своими потугами на романтические новеллы.

– Будущее покажет, что из кого получится, – уверенно произнес он.

– Покажет, – заносчиво согласился я и улегся на тюфяк.

На низком подоконнике вразброс лежали старые журналы. Я взял прошлогодний номер «Октября» и открыл наугад. И увидел имя Паустовского. Это была первая публикация «Золотой розы», о которой я раньше только слышал.

Я читал до позднего вечера эту повесть о красоте земли и человеческих душ. О тяжелой, порою непосильной писательской работе и о счастье, которое эта работа дает. О том, что писательство – не только труд, не только долг, но и потребность души. Это когда человек не может не писать.

Я радовался повести и мучился. Мучился потому, что не мог не писать, но знал, что писать не умею. Не в силах. Нет терпения довести до конца даже коротенький рассказ. Слова лепятся в беспомощные фразы, и никогда мне не рассказать людям то, что задумано.

Я стонал от бессилия. И от стыда. Мое недавнее согласие, что «будущее покажет», было хвастливым выкриком сопляка, бездарного и нахального, – теперь я это понимал отчетливо.

Ночью я включил под одеялом фонарик и, сцепив зубы, начал писать новый рассказ. Он опять не получился. Тогда я еще не знал простой истины: если сам видишь, что не получается, значит, не все потеряно. Значит, есть хоть какая-то надежда, что когда-нибудь что-нибудь получится. Я не знал этого, но все же надеялся. И мучился снова. Потому что иначе не мог.

С этой поры осталась привычка писать карандашом в общей тетради. И мучиться приходится, пожалуй, не меньше, чем тогда. И радоваться, несмотря на мучения. В этом и есть то непростое счастье, о котором писал Паустовский.

...Из зала я поднялся в комнату, где готовили смены почетного караула. Было много людей, но из знакомых я увидел только Агнию Львовну Барто. Мы молча кивнули друг другу. Желających встать в караул было много, и я долго не решался подойти к распорядителю. Потом подошел. Спросили, кто и откуда. Я назвал себя, сказал, что из Свердловской писательской организации. Мне дали широкую черно-красную повязку.

В карауле я стоял в ногах у Паустовского и видел его легкие коричневые полуботинки. Новые, с нетронутой кожей на подошвах. Видимо, специально купили для похорон. Почему-то не оставляла мысль об этих полуботинках. О том, что Паустовский никуда и никогда в них не пойдет. Эти подошвы не оставят следа ни на траве, ни на асфальте, ни на прибрежном песке, ни на камнях в Херсонесе...

Говорят, Паустовский мечтал поселиться в Херсонесе, на краю Севастополя, рядом с развалинами древних башен, рядом с сигнальным колоколом над высоким обрывом – в этом старинном колоколе отдается эхо штормов.

Среди камней, поросших травой с мелкими желтыми цветами. Теплым запахом этой травы пропитаны старые переулки, прибрежные камни и бастионы...

У края сцены стоял рояль. Седая пианистка в черном бархатном платье негромко играла «Смерть Озе» Грига.

О Григе я тоже узнал в детстве от Паустовского. Он много писал о «снежной» музыке Грига в разных книгах. В том числе и в повести «Далекие годы».

Мне вспомнилась опять эта повесть. Начинается она главой «Смерть отца». Я не мог не думать о своем отце, две смерти – уже наступившая и та, которая неизбежно придет, – давали ощущение одной большой утраты. И безнадежности.

Но сквозь безнадежность пробивалась тревога. За ребят, за отряд. Будто где-то далеко трубил в помятый горн дежурный горнист Валерка. Трубил неумело, отрывисто и сердито. Это звучал сигнал опасности. Но безнадежности в нем не было. Это была тревога жизни...

Когда караул сменили, я опять прошел в зал. Начиналась гражданская панихида. Сердитый, взлохмаченный Виктор Шкловский вскинул голову и резко сказал:

– Не надо плакать! Река закончила свой путь. Она слилась с морем...

Конечно, он говорил о море вечной жизни, литературы, борьбы за истину и радость. Но мне тут же вспомнилась опять синяя искрящаяся ширь и всплески прибоя у скал Херсонеса...

«Черное море»... Повесть о Севастополе, о революции, 0^ Шмидте. Сколько бы ни говорили о любви Паустовского к средней России, к рязанским проселкам и омутам близ Оки, Черное море он любил не меньше. Любил преданно и постоянно. Это же видно на каждой его странице, написанной про моряков, про Севастополь, про любой клочок древних крымских берегов.

Мне кажется, когда-нибудь благодарные севастопольцы поставят памятник Паустовскому. Он был певцом этого города.

Было бы хорошо, если бы памятник стоял где-нибудь на скалистом мысу и постаментом ему служили бы источенные морем и ветрами камни этой скалы. Крепкий ветер с моря

прижимал бы к камням жесткую траву все с теми же мелкими желтыми цветами. И было бы тихо, только вскрикивал в отдалении бакен-ревун, который раскачивают волны недалеко от Константиновского рavelина...

После панихиды я вышел на улицу. Всю ширину улицы Герцена занимала плотная молчаливая толпа. В окнах арабского посольства напротив ЦДЛ были видны прижатые к стеклам коричневые лица. Протискиваясь от дверей, я увидел Олега Тихомирова, молодого писателя, автора хороших детских книжек. Тогда он работал в «Пионере». Мы встали рядом.

– Выносят... – сказал кто-то. Толпа разом качнулась. Мы с Олегом взялись за руки, чтобы держаться вместе, В мегафон громко объявили, что желающие ехать на кладбище в Тарусу могут занять места в автобусах.

Я не мог поехать, В три часа меня ждали в редакции «Правды»...

Идти в газету со мной должен был знакомый журналист. Мы договорились встретиться в «Пионере». Когда я пришел туда, он ждал меня. Я сказал, что был на похоронах Паустовского.

Мы помолчали.

Стало темно.

Стало удивительно темно. Это неожиданно собралась над Москвой черная июльская гроза. Из окна одиннадцатого этажа стало видно, что зажглись окна в домах и фары автомобилей.

Никогда я не видел такой грозы – ни раньше, ни потом. Это не риторический прием, в самом деле не видел. Было гораздо темнее, чем обычной летней ночью. Словно все грозы, о которых писал Паустовский, – с их чернильной тьмой, седыми шипучими ливнями и обжигающими глаза вспышками, – сошлись над печальной вереницей автобусов, чтобы отдать последний громовой салют...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.